**Леонид ПАНТЕЛЕЕВ**

**На ялике**

Большая широкобокая лодка подходила к нашему берегу. Набитая до отказа, сидела она очень низко в воде, шла медленно, одолевая течение, и было видно, как туго и трудно погружаются в воду весла и с каким облегчением выскальзывают они из нее, сверкая на солнце и рассыпая вокруг себя тысячи и тысячи брызг.

Я сидел на большом теплом и шершавом камне у самой воды, и мне было так хорошо, что не хотелось ни двигаться, ни оглядываться, и я даже рад был, что лодка еще далеко и что, значит, можно еще несколько минут посидеть и подумать… О чем? Да ни о чем особенном, а только о том, как хорошо сидеть, какое милое небо над головой, как чудесно пахнет водой, ракушками, смоленым деревом…

Я уже давно не был за городом, и все меня сейчас по-настоящему радовало: и чахлый одуванчик, притаившийся под пыльным зонтиком лопуха, и легкий, чуть слышный плеск невской волны, и белая бабочка, то и дело мелькавшая то тут, то там в ясном и прозрачном воздухе. И разве можно было в эту минуту поверить, что идет война, что фронт совсем рядом, что он тут вот, за этими крышами и трубами, откуда изо дня в день летят в наш осажденный город немецкие бомбардировщики и дальнобойные бризантные снаряды? Нет, я не хотел думать об этом, да и не мог думать, так хорошо мне было в этот солнечный июльский день.

\*\*\*

А на маленькой пристаньке, куда должна была причалить лодка, уже набился народ. Ялик подходил к берегу, и, чтобы не потерять очереди, я тоже прошел на эти животрепещущие дощатые мостки и смешался с толпой ожидающих. Это были все женщины, все больше пожилые работницы.

Некоторые из них уже перекликались и переговаривались с теми, кто сидел в лодке. Там тоже были почти одни женщины, а из нашего брата только несколько командиров, один военный моряк да сам перевозчик, человек в неуклюжем брезентовом плаще с капюшоном. Я видел пока только его спину и руки в широких рукавах, которые ловко, хотя и не без натуги, работали веслами. Лодку относило течением, но все-таки с каждым взмахом весел она все ближе и ближе подходила к берегу.

– Матвей Капитоныч, поторопись! – закричал кто-то из ожидающих.

Гребец ничего не ответил. Подводя лодку к мосткам, он чуть-чуть повернул голову, и тут я увидел его лицо. Это был мальчик лет одиннадцати-двенадцати, а может быть, и моложе. Лицо у него было худенькое, серьезное, строгое, темное от загара, только бровки были смешные, детские, совершенно выцветшие, белые, да из-под широкого козырька огромной боцманской фуражки с якорем на околыше падали на запотевший лоб такие же белобрысые, соломенные, давно не стриженные волосы.

По тому, как тепло и дружно приветствовали его у нас на пристани женщины, было видно, что мальчик не случайно и не в первый раз сидит на веслах.

– Капитану привет! – зашумели женщины.

– Мотенька, давай, давай сюда! Заждались мы тебя.

– Мотенька, поспеши, опаздываем!

– Матвей Капитоныч, здравствуй!

– Отойди, не мешай, бабы! – вместо ответа закричал он каким-то хриплым простуженным баском, и в эту минуту лодка ударилась о стенку причала, качнулась и заскрипела. Мальчик зацепил веслом за кромку мостков, кто-то из военных спрыгнул на пристань и помог ему причалить лодку.

Началась выгрузка пассажиров и посадка новых.

Маленький перевозчик выглядел очень усталым, с лица его катил пот, но он очень спокойно, без всякого раздражения, сурово и повелительно распоряжался посадкой.

– Эй, тетка! – покрикивал он. – Вот ты, с противогазом которая. Садись с левого борта. А ты, с котелком, – туда… Тихо… Осторожно. Без паники. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь.

Он сосчитал, сбился и еще раз пересчитал, сколько людей в лодке.

– Довольно. Хватит! За остальными после приеду.

Оттолкнувшись веслом от пристани, он подобрал свой брезентовый балахон, уселся и стал собирать двугривенные за перевоз.

Я, помню, дал ему рубль и сказал, что сдачи не надо. Он шмыгнул носом, усмехнулся, отсчитал восемь гривен, подал их мне вместе с квитанцией и сказал:

– Если у вас лишние, так положите их лучше в сберкассу.

Потом пересчитал собранные деньги, вытащил из кармана большой старомодный кожаный кошель, ссыпал туда монеты, защелкнул кошель, спрятал его в карман, уселся поудобнее, поплевал на руки и взялся за весла.

Большая, тяжелая лодка, сорвавшись с места, легко и свободно пошла вниз по течению.

\*\*\*

И вот, не успели мы как следует разместиться на своих скамейках, не успел наш ялик отойти и на сотню метров от берега, случилось то, чего, казалось бы, уж никак нельзя было ожидать в этот солнечный, безмятежно спокойный летний день.

Я сидел на корме. Передо мной лежала река, а за нею – Каменный остров, над которым все выше и выше поднималось утреннее солнце. Густая зеленая грива висела над низким отлогим берегом. Сквозь яркую свежую листву виднелись отсюда какие-то домики, какая-то беседка с белыми круглыми колоннами, а за ними… Но нет, там ничего не было и не могло быть. Мирная жизнь спокойно, как река, текла на этой цветущей земле. Легкий дымок клубился над пестрыми дачными домиками. Чешуйчатые рыбачьи сети сушились, растянутые на берегу. Белая чайка летала. И было очень тихо. И в лодке у нас тоже почему-то стало тише, только весла мерно стучали в уключинах да за бортом так же мерно и неторопливо плескалась вода.

И вдруг в эту счастливую, безмятежную тишину ворвался издалека звук, похожий на отдаленный гром. Легким гулом он прошел по реке. И тотчас же в каждом из нас что-то екнуло и привычно насторожилось. А какая-то женщина, правда не очень испуганно и не очень громко, вскрикнула и сказала:

– Ой, что это, бабоньки?

В эту минуту второй, более сильный удар размашистым отзвуком прокатился по реке. Все посмотрели на мальчика, который, кажется, один во всей лодке, не обратил никакого внимания на этот подозрительный грохот и продолжал спокойно грести.

– Мотенька, что это? – спросили у него.

– Ну что! – сказал он, не поворачивая головы. – Ничего особенного. Зенитки.

Голос у него был какой-то скучный и даже грустный, и я невольно посмотрел на него. Сейчас он показался мне почему-то еще моложе, в нем было что-то совсем детское, младенческое: уши под большим картузом смешно оттопыривались в стороны, на загорелых щеках проступал легкий белый пушок, из-под широкого и жесткого, как хомут, капюшона торчала тонкая, цыплячья шейка.

А в чистом, безоблачном небе уже бушевала гроза. Теперь уже и мне было ясно, что где-то на подступах, на фортах, а может быть и ближе, работают наши зенитные установки. Как видно, вражеским самолетам удалось пробиться сквозь первую линию огня, и теперь они уже летели к городу. Канонада усиливалась, приближалась. Все новые и новые батареи вступали в дело, и скоро отдельные залпы стали неразличимы, – обгоняя друг друга, они сливались в один сплошной гул.

– Летит! Летит! Поглядите-ка! – закричали вдруг у нас в лодке.

Я посмотрел и ничего не увидел. Только мягкие, пушистые дымчатые клубочки таяли то тут, то там в ясном и высоком небе. Но сквозь гром зенитного огня я расслышал знакомый прерывистый рокот немецкого мотора. Гребец наш тоже мельком, искоса посмотрел на небо.

– Ага. Разведчик, – сказал он пренебрежительно.

И я даже улыбнулся, как это он быстро, с одного маха нашел самолет и с какой точностью определил, что самолет этот не какой-нибудь, а именно разведчик. Я хотел было попросить его показать мне, где он увидел этого разведчика, но тут будто огромной кувалдой ударило меня по барабанным перепонкам, я невольно зажмурился, услышал, как закричали женщины, и изо всех сил вцепился в холодный влажный борт лодки, чтобы не полететь в воду.

\*\*\*

Это открыли огонь зенитные батареи на Каменном острове. Уж думалось, что дальше некуда: и так уж земля и небо дрожали от этого грома и грохота, а тут вдруг оказалось, что все это были пустяки, что до сих пор было даже очень тихо и что только теперь-то и началась настоящая музыка воздушного боя.

Ничего не скажу – было страшно. Особенно, когда в воду – и спереди и сзади, и справа и слева от лодки – начали падать осколки.

Мне приходилось уже не раз бывать под обстрелом, но всегда это случалось со мной на земле, на суше. Там, если рядом и упадет осколок, его не видно. А тут, падая с шипеньем в воду, эти осколки поднимали за собой целые столбы воды. Это было красиво, похоже на то, как играют дельфины в теплых морях, – но если бы это действительно были дельфины!..

Женщины в нашей лодке уже не кричали. Перепуганные, они сбились в кучу, съежились, пригнули как можно ниже головы. А многие из них даже легли на дно лодки и защищали себя руками, как будто можно рукой уберечь себя от тяжелого и раскаленного куска металла. Но ведь известно, что в такие минуты человек не умеет рассуждать. Признаться, мне тоже хотелось нагнуться, зажмуриться, спрятать голову.

Но я не мог сделать этого.

Передо мной сидел мальчик. Ни на один миг он не оставил весел. Так же уверенно и легко вел он свое маленькое судно, и на лице его я не мог прочесть ни страха, ни волнения. Он только посматривал изредка то направо, то налево, то на небо, потом переводил взгляд на своих пассажиров – и усмехался. Да, усмехался. Мне даже стыдно стало, я даже покраснел, когда увидел эту улыбку на его губах.

«Неужели он не боится? – подумал я. – Неужели ему не страшно? Неужто не хочется ему бросить весла, зажмуриться, спрятаться под скамейку?.. А впрочем, он еще маленький, – подумалось мне. – Он еще не понимает, что такое смерть, поэтому небось и улыбается так беспечно и снисходительно».

Канонада еще не кончилась, когда мы пристали к берегу. Не нужно было никого подгонять. Через полминуты лодка была уже пустая. Под дождем осколков, совсем как это бывает под настоящим проливным дождем, женщины бежали на берег и прятались под густыми шапками приземистых дубков и столетних лип.

Я вышел из лодки последним. Мальчик возился у причала, затягивая какой-то сложный морской узел.

– Послушай! – сказал я ему. – Чего ты копаешься тут? Ведь, посмотри, осколки летят…

– Чего? – переспросил он, подняв на секунду голову и посмотрев на меня не очень любезно.

– Я говорю: храбрый ты, как я погляжу. Ведь страшно все-таки. Неужели ты не боишься?

В это время тяжелый осколок с тупым звоном ударился о самую кромку мостков.

– А ну, проходите! – закричал на меня мальчик. – Нечего тут…

– Ишь ты какой! – сказал я с усмешкой и зашагал к берегу. Я был обижен и решил, что не стоит и думать об этом глупом мальчишке.

Но, выйдя на дорогу, я все-таки не выдержал и оглянулся. Мальчика на пристани уже не было. Я поискал его глазами. Он стоял на берегу, под навесом какого-то склада или сарая. Весла свои он тоже притащил сюда и поставил рядом.

«Ага, – подумал я с некоторым злорадством. – Все-таки, значит, немножко побаиваешься, голубчик!..»

Но, по правде сказать, мне все еще было немножко стыдно, что маленький мальчик оказался храбрее меня. Может быть, поэтому я не стал прятаться под деревьями, а сразу свернул на боковую дорожку и отправился разыскивать Н-скую зенитную батарею.

\*\*\*

Дела, которые привели меня на Каменный остров, к зенитчикам, отняли у меня часа полтора-два. Обратно в город меня обещали «подкинуть» на штабной машине, прибытия которой ожидали с минуты на минуту.

В ожидании машины, от нечего делать, я беседовал с командиром батареи о всякой всячине и, между прочим, рассказал о том, как сложно я к ним добирался, и о том, как наш ялик попал в осколочный дождь.

Командир батареи, пожилой застенчивый лейтенант из запасных, почему-то вдруг очень смутился и даже покраснел.

– Да, да… – сказал он, вытирая платком лицо. – К сожалению, наши снаряды летают не только вверх, но и вниз. Но что же поделаешь! Это как раз те щепки, которые летят, когда лес рубят. Но все-таки неприятно. Очень неприятно. Ведь бывают жертвы, свои люди гибнут. Вот как раз недели три тому назад тут перевозчика осколком убило.

Я, помню, даже вздрогнул, когда услышал это.

– Как перевозчика? – сказал я. – Где? Какого?

– Да вот тут как раз, на Неве, где вы переезжали. Хороший человек был. Сорок два года работал на перевозе. И отец у него, говорят, тоже на яликах подвизался. И дед.

– А сейчас там какой-то мальчик, – сказал я.

– Ха! – улыбнулся лейтенант. – Ну как же! Мотя! Матвей Капитоныч! Адмирал Нахимов мы его зовем. Это сынишка того перевозчика, который погиб.

– Как! – сказал я. – Того самого, который от осколка?..

– Ну да. Именно. Того Капитоном звали, а этого Матвей Капитонович. Тоже матрос бывалый. Лет ему – не сосчитать как мало, а работает – сами видели, – со взрослыми потягаться может. И притом, что бы ни было, всегда на посту: и днем и ночью, и в дождь и в бурю…

– И под осколками, – сказал я.

– Да, и под осколками. Этого уж тут не избежишь! Осколочные осадки выпадают у нас, пожалуй, почаще, чем обычные, метеорологические…

Лейтенант мне еще что-то говорил, что-то рассказывал, но я плохо слушал его. Почему-то мне вдруг страшно захотелось еще раз увидеть Мотю.

– Послушайте, товарищ лейтенант, – сказал я поднимаясь. – Знаете, – что-то ваша машина застряла. А у меня времени в обрез. Я, пожалуй, пойду.

– А как же вы? – удивился лейтенант.

– Ну что ж, – сказал я. – Придется опять на ялике.

\*\*\*

Когда я пришел к перевозу, ялик еще только-только отваливал от противоположного берега. Опять он был переполнен пассажирами, и опять низкие бортики его еле-еле выглядывали из воды, но так же легко, спокойно и уверенно работали весла и вели его наискось по течению, поблескивая на солнце и оставляя в воздухе светлую радужную пыль. А солнце стояло уже высоко, припекало, и было очень тихо, даже как-то особенно тихо, как всегда бывает летом после хорошего проливного дождя.

На пристани еще никого не было, я сидел один на скамеечке, поглядывая на воду и на приближающуюся лодку, и на этот раз мне уже не хотелось, чтобы она шла подольше, – наоборот, я ждал ее с нетерпением. А лодка как будто чуяла это мое желание, шла очень быстро, и скоро в толпе пассажиров я уже мог разглядеть белый парусиновый балахон и боцманскую фуражку гребца.

«И днем и ночью, и в дождь и в бурю», – вспомнил я слова лейтенанта.

И вдруг я очень живо и очень ясно представил себе, как здесь вот, на этом самом месте, в такой же, наверно, погожий, солнечный денек, на этой же самой лодке, с этими же веслами в руках погиб на своем рабочем посту отец этого мальчика. Я отчетливо представил во всех подробностях, как это случилось. Как привезли старого перевозчика к берегу, как выбежали навстречу его жена и дети, – и вот этот мальчик тоже, – и какое это было горе, и как страшно стало, как потемнело у мальчика в глазах, когда какая-то чужая старуха всхлипнула, перекрестилась и сказала:

– Царство небесное. П..

И вот не прошло и месяца, а этот мальчик сидит на этой лодке и работает теми же веслами, которые выпали тогда из рук его отца.

«Как же он может? – подумал я. – Как может этот маленький человек держать в руках эти страшные весла? Как может он спокойно сидеть на скамейке, на которой еще небось не высохла кровь его отца? Ведь, казалось бы, он на всю жизнь должен был проникнуться смертельным ужасом и к этой заклятой работе, и к этой лодке, и к веслам, и к черной невской воде. Даже отдаленный орудийный выстрел должен был пугать его и холодить жестокой тоской его маленькое сердце. А ведь он улыбался. Вы подумайте только – он улыбался давеча, когда земля и небо дрожали от залпов зенитных орудий!..»

Но тут мои размышления были прерваны. Веселый женский голос звонко и раскатисто, на всю реку, прокричал за моей спиной:

– Матвей Капитоныч, поторопи-ись!..

Пока я сидел и раздумывал, на пристани уже скопилась порядочная толпа ожидающих. Опять тут было очень много женщин-работниц, было несколько военных, две или три девушки-дружинницы и молодой военный врач.

Лодка уже подходила к мосткам. Повторилось то же, что было давеча на том берегу. Ялик ударился о стенку причала и заскрипел. Женщины и на берегу и в лодке загалдели, началась посадка, и мальчик, стоя в лодке и придерживаясь веслом за бортик мостков, не повышая голоса, серьезно и деловито командовал своими пассажирами. Мне показалось, что за эти два часа он еще больше осунулся и похудел. Темное от загара и от усталости лицо его блестело, он тяжело дышал. Балахон свой он расстегнул, распахнул ворот рубашки, и оттуда выглядывала полоска незагорелой кожи. Когда я входил в лодку, он посмотрел на меня, улыбнулся, показав на секунду маленькие белые зубы, и сказал:

– Что? Уж обратно?

– Да. Обратно, – ответил я и почему-то очень обрадовался и тому, что он меня узнал, и тому, что заговорил со мной и даже улыбнулся мне.

Усаживаясь, я постарался занять место поближе к нему. Это удалось мне. Правда, пришлось кого-то не очень вежливо оттолкнуть, но когда мальчик сел на свое капитанское место, оказалось, что мы сидим лицом к лицу.

Выполнив обязанности кассира, собрав двугривенные, пересчитав их и спрятав, Мотя взялся за весла.

– Только не шуметь, бабы! – строго прикрикнул он на своих пассажирок. Те слегка притихли, а мальчик уселся поудобнее, поплевал на руки, и весла размеренно заскрипели в уключинах, и вода так же размеренно заплескалась за бортом.

Мне очень хотелось заговорить с мальчиком. Но, сам не знаю почему, я немножко робел и не находил, с чего начать разг Улыбаясь, я смотрел на его серьезное сосредоточенное лицо и на смешные детские бровки, на которых поблескивали редкие светлые волосики. Внезапно он взглянул на меня, поймал мою улыбку и сказал:

– Вы чего смеетесь?

– Я не смеюсь, – сказал я немножко даже испуганно. – С чего ты взял, что я смеюсь? Просто я любуюсь, как ты ловко работаешь.

– Как это ловко? Обыкновенно работаю.

– Ого! – сказал я, покачав головой. – А ты, адмирал Нахимов, я погляжу, дядя сердитый…

Он опять, но на этот раз, как мне показалось, с некоторым любопытством взглянул на меня и сказал:

– А вы откуда знаете, что я – адмирал Нахимов?

– Ну, мало ли? Слухом земля полнится.

– Что, на батареях были?

– Да, на батареях.

– А! Тогда понятно.

– Что тебе понятно?

Он помолчал, как бы раздумывая, стоит ли вообще рассусоливать со мной, и наконец ответил:

– Командиры меня так дразнят: адмиралом. Я ведь их тут всех обслуживаю: и зенитчиков, и летчиков, и моряков, и из госпиталей которые…

– Да, брат, работки у тебя, как видно, хватает, – сказал я. – Устаешь здорово небось? А?

Он ничего не сказал, только пожал плечами. Что работки ему хватает и что устает он зверски, было и без того видно. Лодка опять шла наперекор течению, и весла с трудом, как в густую черную глину, погружались в воду.

– Послушай, Матвей Капитоныч, – сказал я, помолчав. – Скажи, пожалуйста, откровенно, по совести: неужто тебе давеча не страшно было?

– Это когда? Где? – удивился он.

– Ну, давеча, когда зенитки работали.

Он усмехнулся и с каким-то не то что удивлением, а пожалуй, даже с сожалением посмотрел на меня.

– Вы бы ночью сегодня поглядели, что было. Вот это да! – сказал он.

– А разве ты ночью тоже работал?

– Я дежурил. У нас тут на Деревообделочном он зажигалок набросал целый воз. Так мы тушили.

– Кто «мы»?

– Ну, кто? Ребята.

– Так ты что – и не спал сегодня?

– Нет, спал немного.

– А ведь у вас тут частенько это бывает.

– Что? Бомбежки-то? Конечно, часто. У нас тут вокруг батареи. Осколки так начнут сыпаться, только беги.

– Да, – сказал я, – а ты, я вижу, все-таки не бежишь.

– А мне бежать некуда, – сказал он, усмехнувшись.

– Ну, а ведь честно-то, по совести, – боязно все-таки?

Он опять подумал и как-то очень хорошо, просто и спокойно сказал:

– Бойся не бойся, а уж если попадет, так попадет. Легче ведь не будет, если бояться?

– Это конечно, – улыбнулся я. – Легче не будет.

Мне все хотелось задать ему один вопрос, но как-то язык не поворачивался. Наконец я решился:

– А что, Мотя, это правда, что у тебя тут недавно отец погиб?

Мне показалось, что на одно мгновение весла дрогнули в его руках.

– Ага, – сказал он хрипло и отвернулся в сторону.

– Его что – осколком?

– Да.

– Вот, видишь…

Я не договорил. Но, как видно, он понял, о чем я хотел сказать. Целую минуту он молчал, налегая на весла. Потом, так же не глядя на меня, а куда-то в сторону, хриплым, басовитым и, как мне показалось, даже не своим голосом сказал:

– Воды бояться – в море не бывать.

– Хорошо сказано. Ну, а все-таки – разве ты об этом не думал? Если и тебя этак же?

– Что меня?

– Осколком.

– Тьфу, тьфу, – сказал он, сердито посмотрев на меня, и как-то лихо и замысловато, как старый бывалый матрос, плюнул через левое плечо.

Потом, заметив, что я улыбаюсь, – не выдержал, сам улыбнулся и сказал:

– Ну что ж! Конечно, могут. Всякое бывает. Могут и убить. Тогда что ж… Тогда, значит, придется Маньке за весла садиться.

– Какой Маньке?

– Ну какой! Сестренке. Она, вы не думайте, она хоть и маленькая, а силы-то у нее побольше, чем у другого пацана. На спинке Неву переплывает туда и обратно.

Беседуя со мной, Мотя ни на минуту не оставлял управления лодкой. Она уже миновала середину реки и теперь, относимая течением в сторону, шла наискось к правому, высокому берегу. А там уже поблескивали кое-где стекла в сереньких дощатых домиках, из-за дранковых, толевых и железных крыш выглядывали чахлые пыльные деревца, а над ними без конца и без края расстилалось бесцветное бледно-голубое, как бы разбавленное молоком, северное небо.

И опять на маленькой пристани уже толпился народ, уже слышен был шум голосов, и уже кто-то кричал что-то и махал нам рукой.

– Мотя-а-а! – расслышал я и, вглядевшись, увидел, что это кричит маленькая девочка в белом платочке и в каком-то бесцветном, длинном, как у цыганки, платье.

– Мотя-а-а! – кричала она, надрываясь и чуть ли не со слезами в голосе.

– Живей! Чего ты копаешься там?..

Мотя и головы не повернул. Только подводя лодку к мосткам, он поглядел на девочку и спокойно сказал:

– Чего орешь?

Девочка была действительно совсем маленькая, босая, с таким же, как у Моти, загорелым лицом и с такими же смешными, выцветшими, белесыми бровками.

– Обедать иди! – загорячилась она. – Мама ждет, ждет!.. Уж горох весь выкипел.

И в лодке и на пристани засмеялись. А Мотя неторопливо причалил ялик, дождался, пока сойдут на берег все пассажиры, и только тогда повернулся к девочке и ответил ей:

– Ладно. Иду. Принимай вахту.

– Это что? – спросил я у него. – Это Манька и есть?

– Ага. Манька и есть. Вот она у нас какая! – улыбнулся он, и в голосе его я услышал не только очень теплую нежность, но и настоящую гордость.

– Славная девочка, – сказал я и хотел сказать еще что-то.

Но славная девочка так дерзко и сердито на меня посмотрела и так ужасно сморщила при этом свой маленький загорелый, облупившийся нос, что я проглотил все слова, какие вертелись у меня на языке. А она шмыгнула носом, повернулась на босой ноге и, подобрав подол своего цыганского платья, ловко прыгнула в лодку.

– Эй, бабы, бабы!.. Не шуметь! Без паники! – закричала она хриплым, простуженным баском, совсем как Мотя. «И, наверное, совсем как покойный отец», – подумалось мне.

Я попрощался с Мотей, протянул ему руку.

– Ладно. До свиданьица, – сказал он не очень внимательно и подал мне свою маленькую, крепкую, шершавую и мозолистую руку.

Поднявшись по лесенке наверх, на набережную, я оглянулся.

Мотя в своем длинном и широком балахоне и в огромных рыбацких сапогах, удаляясь от пристани, шел уже по узенькой песчаной отмели, слегка наклонив голову и по-матросски покачиваясь на ходу.

А ялик уже отчалил от берега. Маленькая девочка сидела на веслах, ловко работала ими, и весла в ее руках весело поблескивали на солнце и рассыпали вокруг себя тысячи и тысячи брызг.

**Леонид ПАНТЕЛЕЕВ**

**Честное слово**

Мне очень жаль, что я не могу вам сказать, как зовут этого маленького человека, и где он живет, и кто его папа и мама. В потемках я даже не успел как следует разглядеть его лицо. Я только помню, что нос у него был в веснушках и что штанишки у него были коротенькие и держались не на ремешке, а на таких лямочках, которые перекидываются через плечи и застегиваются где-то на животе.

Как-то летом я зашел в садик, – я не знаю, как он называется, на Васильевском острове, около белой церкви. Была у меня с собой интересная книга, я засиделся, зачитался и не заметил, как наступил в Когда в глазах у меня зарябило и читать стало совсем трудно, я за хлопнул книгу, поднялся и пошел к выходу.

Сад уже опустел, на улицах мелькали огоньки, и где-то за деревьями звенел колокольчик сторожа.

Я боялся, что сад закроется, и шел очень быстро. Вдруг я остановился. Мне послышалось, что где-то в стороне, за кустами, кто-то плачет.

Я свернул на боковую дорожку – там белел в темноте небольшой каменный домик, какие бывают во всех городских садах; какая-то будка или сторожка. А около ее стены стоял маленький мальчик лет семи или восьми и, опустив голову, громко и безутешно плакал.

Я подошел и окликнул его:

– Эй, что с тобой, мальчик?

Он сразу, как по команде, перестал плакать, поднял голому, посмотрел на меня и сказал:

– Ничего.

– Как это ничего? Тебя кто обидел?

– Никто.

– Так чего ж ты плачешь?

Ему еще трудно было говорить, он еще не проглотил всех слез, еще всхлипывал, икал, шмыгал носом.

– пошли, – сказал я ему. – Смотри, уже поздно, уже сад закрывается.

И я хотел взять мальчика за руку. Но мальчик поспешно отдернул руку и сказал:

– Не могу.

– Что не можешь?

– Идти не могу.

– Как? Почему? Что с тобой?

– Ничего, – сказал мальчик.

– Ты что – нездоров?

– Нет, – сказал он, – здоров.

– Так почему ж ты идти не можешь?

– Я – часовой, – сказал он.

– Как часовой? Какой часовой?

– Ну, что вы – не понимаете? Мы играем.

– Да с кем же ты играешь?

Мальчик помолчал, вздохнул и сказал:

– Не знаю.

Тут я, признаться, подумал, что, наверно, мальчик все-таки болен и что у него голова не в порядке.

– Послушай, – сказал я ему. – Что ты говоришь? Как же это так? Играешь и не знаешь – с кем?

– Да, – сказал мальчик. – Не знаю. Я на скамейке сидел, а тут какие-то большие ребята подходят и говорят: «Хочешь играть в войну?» Я говорю: «Хочу». Стали играть, мне говорят: «Ты сержант». Один большой мальчик… он маршал был… он привел меня сюда и говорит: «Тут у нас пороховой склад – в этой будке. А ты будешь часовой… Стой здесь, пока я тебя не сменю». Я говорю: «Хорошо». А он говорит: «Дай честное слово, что не уйдешь».

– Ну?

– Ну, я и сказал: «Честное слово – не уйду».

– Ну и что?

– Ну и вот. Стою-стою, а они не идут.

– Так, – улыбнулся я. – А давно они тебя сюда поставили?

– Еще светло было.

– Так где же они?

Мальчик опять тяжело вздохнул и сказал:

– Я думаю, – они ушли.

– Как ушли?

– Забыли.

– Так чего ж ты тогда стоишь?

– Я честное слово сказал…

Я уже хотел засмеяться, но потом спохватился и подумал, что смешного тут ничего нет и что мальчик совершенно прав. Если дал честное слово, так надо стоять, что бы ни случилось – хоть лопни. А игра это или не игра – все равно.

– Вот так история получилась! – сказал я ему. – Что же ты будешь делать?

– Не знаю, – сказал мальчик и опять заплакал.

Мне очень хотелось ему как-нибудь помочь. Но что я мог сделать? Идти искать этих глупых мальчишек, которые поставили его на караул взяли с него честное слово, а сами убежали домой? Да где ж их сейчас найдешь, этих мальчишек?..

Они уже небось поужинали и спать легли, и десятые сны видят.

А человек на часах стоит. В темноте. И голодный небось…

– Ты, наверно, есть хочешь? – спросил я у него.

– Да, – сказал он, – хочу.

– Ну, вот что, – сказал я, подумав. – Ты беги домой, поужинай, а я пока за тебя постою тут.

– Да, – сказал мальчик. – А это можно разве?

– Почему же нельзя?

– Вы же не военный.

Я почесал затылок и сказал:

– Правильно. Ничего не выйдет. Я даже не могу тебя снять с караула. Это может сделать только военный, только начальник…

И тут мне вдруг в голову пришла счастливая мысль. Я подумал, что если освободить мальчика от честного слова, снять его с караула может только военный, так в чем же дело? Надо, значит, идти искать военного.

Я ничего не сказал мальчику, только сказал: «Подожди минутку», – а сам, не теряя времени, побежал к выходу…

Ворота еще не были закрыты, еще сторож ходил где-то в самых дальних уголках сада и дозванивал там в свой колокольчик.

Я стал у ворот и долго поджидал, не пройдет ли мимо какой-нибудь лейтенант или хотя бы рядовой красноармеец. Но, как назло, ни один военный не показывался на улице. Вот было мелькнули на другой стороне улицы какие-то черные шинели, я обрадовался, подумал, что это военные моряки, перебежал улицу и увидел, что это не моряки, а мальчишки-ремесленники. Прошел высокий железнодорожник в очень красивой шинели с зелеными нашивками. Но и железнодорожник с его замечательной шинелью мне тоже был в эту минуту ни к чему.

Я уже хотел несолоно хлебавши возвращаться в сад, как вдруг увидел – за углом, на трамвайной остановке – защитную командирскую фуражку с синим кавалерийским околышем. Кажется, еще никогда в жизни я так не радовался, как обрадовался в эту минуту. Сломя голову я побежал к остановке. И вдруг, не успел добежать, вижу – к остановке подходит трамвай, и командир, молодой кавалерийский майор, вместе с остальной публикой собирается протискиваться в вагон.

Запыхавшись, я подбежал к нему, схватил за руку и закричал:

– Товарищ майор! Минуточку! Подождите! Товарищ майор!

Он оглянулся, с удивлением на меня посмотрел и сказал:

– В чем дело?

– Видите ли, в чем дело, – сказал я. – Тут, в саду, около каменной будки, на часах стоит мальчик… Он не может уйти, он дал честное слово… Он очень маленький… Он плачет…

Командир захлопал глазами и посмотрел на меня с испугом. Наверное, он тоже подумал, что я болен и что у меня голова не в порядке.

– При чем же тут я? – сказал он.

Трамвай его ушел, и он смотрел на меня очень сердито.

Но когда я немножко подробнее объяснил ему, в чем дело, он не стал раздумывать, а сразу сказал:

– Идемте, идемте. Конечно. Что же вы мне сразу не сказали?

Когда мы подошли к саду, сторож как раз вешал на воротах замок. Я попросил его несколько минут подождать, сказал, что в саду у меня остался мальчик, и мы с майором побежали в глубину сада.

В темноте мы с трудом отыскали белый домик. Мальчик стоял на том же месте, где я его оставил, и опять – но на этот раз очень тихо – плакал. Я окликнул его. Он обрадовался, даже вскрикнул от радости, а я сказал:

– Ну, вот, я привел начальника.

Увидев командира, мальчик как-то весь выпрямился, вытянулся и стал на несколько сантиметров выше.

– Товарищ караульный, – сказал кома – Какое вы носите звание?

– Я – сержант, – сказал мальчик.

– Товарищ сержант, приказываю оставить вверенный вам пост.

Мальчик помолчал, посопел носом и сказал:

– А у вас какое звание? Я не вижу, сколько у вас звездочек…

– Я – майор, – сказал кома И тогда мальчик приложил руку к широкому козырьку своей серенькой кепки и сказал:

– Есть, товарищ м Приказано оставить пост.

И сказал это он так звонко и так ловко, что мы оба не выдержали и расхохотались.

И мальчик тоже весело и с облегчением засмеялся.

Не успели мы втроем выйти из сада, как за нами хлопнули ворота и сторож несколько раз повернул в скважине ключ.

Майор протянул мальчику руку.

– Молодец, товарищ сержант, – сказал он. – Из тебя выйдет настоящий воин. До свидания.

Мальчик что-то пробормотал и сказал: «До свиданья».

А майор отдал нам обоим честь и, увидев, что опять подходит его трамвай, побежал к остановке.

Я тоже попрощался с мальчиком и пожал ему руку.

– Может быть, тебя проводить? – спросил я у него.

– Нет, я близко живу. Я не боюсь, – сказал мальчик.

Я посмотрел на его маленький веснушчатый нос и подумал, что ему, действительно, нечего бояться. Мальчик, у которого такая сильная воля и такое крепкое слово, не испугается темноты, не испугается хулиганов, не испугается и более страшных вещей.

А когда он вырастет… Еще не известно, кем он будет, когда вырастет, но кем бы он ни был, можно ручаться, что это будет настоящий человек.

Я подумал так, и мне стало очень приятно, что я познакомился с этим мальчиком.

### Леонид ПАНТЕЛЕЕВ

## Две лягушки

Жили-были две лягушки. Были они подруги и жили в одной канаве. Но только одна из них была настоящая лесная лягушка – храбрая, сильная веселая, а другая была ни то ни се: трусиха была, лентяйка, соня. Про нее даже говорили, будто она не в лесу, а где-то в городском парке родилась.

Но все-таки они жили вместе, эти лягушки.

И вот однажды ночью пошли они погулять.

Идут себе по лесной дороге и вдруг видят – стоит дом. А около дома погреб. И из этого погреба очень вкусно пахнет: плесенью пахнет, сыростью, мохом, грибами. А это как раз то самое, что лягушки любят.

Вот забрались они поскорей в погреб, стали там бегать и прыгать. Прыгали, прыгали и нечаянно свалились в горшок со сметаной.

И стали тонуть.

А тонуть им, конечно, не хочется.

Тогда они стали барахтаться, стали плавать. Но у этого глиняного горшка были очень высокие скользкие стенки. И лягушкам оттуда никак не выбраться.

Та лягушка, что была лентяйкой, поплавала немножко, побултыхалась и думает:

«Все равно мне отсюда не вылезти. Что ж я буду напрасно барахтаться. Только нервы даром трепать. Уж лучше я сразу утону».

Подумала она так, перестала барахтаться – и утонула.

А вторая лягушка – та была не такая. Та думает:

«Нет, братцы, утонуть я всегда успею. Это от меня не уйдет. А лучше я еще побарахтаюсь, еще поплаваю. Кто его знает, может быть, у меня что-нибудь и выйдет».

Но только – нет, ничего не выходит. Как ни плавай – далеко не уплывешь. Горшок узенький, стенки скользкие, – не вылезти лягушке из сметаны.

Но все-таки она не сдается, не унывает.

«Ничего, – думает, – пока силы есть, буду барахтаться. Я ведь еще живая

– значит, надо жить. А там – что будет».

И вот – из последних сил борется наша храбрая лягушка со своей лягушачьей смертью. Уж вот она и сознание стала терять. Уж вот захлебнулась. Уж вот ее ко дну тянет. А она и тут не сдается. Знай себе лапками работает. Дрыгает лапками и думает:

«Нет. Не сдамся. Шалишь, лягушачья смерть…»

И вдруг – что такое? Вдруг чувствует наша лягушка, что под ногами у нее уже не сметана, а что-то твердое, что-то такое крепкое, надежное, вроде земли. Удивилась лягушка, посмотрела и видит: никакой сметаны в горшке уже нет, а стоит она на комке масла.

«Что такое? – думает лягушка. – Откуда здесь взялось масло?»

Удивилась она, а потом догадалась: ведь это она сама лапками своими из жидкой сметаны твердое масло сбила.

«Ну вот, – думает лягушка, – значит, я хорошо сделала, что сразу не утонула».

Подумала она так, выпрыгнула из горшка, отдохнула и поскакала к себе домой – в лес.

А вторая лягушка осталась лежать в горшке.

И никогда уж она, голубушка, больше не видела белого света, и никогда не прыгала, и никогда не квакала.

Ну что ж. Если говорить правду, так сама ты, лягушка, и виновата. Не падай духом! Не умирай раньше смерти…

### Леонид ПАНТЕЛЕЕВ

## Буква «ты»

Учил я когда-то одну маленькую девочку читать и писать. Девочку звали Иринушка, было ей четыре года пять месяцев, и была она большая умница. За каких-нибудь десять дней мы одолели с ней всю русскую азбуку, могли уже свободно читать и «папа», и «мама», и «Саша», и «Маша», и оставалась у нас невыученной одна только, самая последняя буква – «я».

И тут вот, на этой последней буковке, мы вдруг с Иринушкой и споткнулись.

Я, как всегда, показал ей букву, дал ей как следует ее рассмотреть и сказал:

– А это вот, Иринушка, буква «я».

Иринушка с удивлением на меня посмотрела и говорит:

– Ты?

– Почему «ты»? Что за «ты»? Я же сказал тебе: это буква «я»!

– Буква ты?

– Да не «ты», а «я»!

Она еще больше удивилась и говорит:

– Я и говорю: ты.

– Да не я, а буква «я»!

– Не ты, а буква ты?

– Ох, Иринушка, Иринушка! Наверное, мы, голубушка, с тобой немного переучились. Неужели ты в самом деле не понимаешь, что это не я, а что это буква так называется: «я»?

– Нет, – говорит, – почему не понимаю? Я понимаю.

– Что ты понимаешь?

– Это не ты, а это буква так называется: «ты».

Фу! Ну в самом деле, ну что ты с ней поделаешь? Как же, скажите на милость, ей объяснить, что я – это не я, ты – не ты, она – не она и что вообще «я» – это только буква.

– Ну, вот что, – сказал я наконец, – ну, давай, скажи как будто про себя: я! Понимаешь? Про себя. Как ты про себя говоришь.

Она поняла как будто. Кивнула. Потом спрашивает:

– Говорить?

– Ну, ну… Конечно.

Вижу – молчит. Опустила голову. Губами шевелит.

Я говорю:

– Ну, что же ты?

– Я сказала.

– А я не слышал, что ты сказала.

– Ты же мне велел про себя говорить. Вот я потихоньку и говорю.

– Что же ты говоришь?

Она оглянулась и шепотом – на ухо мне:

– Ты!..

Я не выдержал, вскочил, схватился за голову и забегал по комнате.

Внутри у меня уже все кипело, как вода в чайнике. А бедная Иринушка сидела, склонившись над букварем, искоса посматривала на меня и жалобно сопела. Ей, наверно, было стыдно, что она такая бестолковая. Но и мне тоже было стыдно, что я – большой человек – не могу научить маленького человека правильно читать такую простую букву, как буква «я».

Наконец я придумал все-таки. Я быстро подошел к девочке, ткнул ее пальцем в нос и спрашиваю:

– Это кто?

Она говорит:

– Это я.

– Ну вот… Понимаешь? А это буква «я»!

Она говорит:

– Понимаю…

А у самой уж, вижу, и губы дрожат и носик сморщился – вот-вот заплачет.

– Что же ты, – я спрашиваю, – понимаешь?

– Понимаю, – говорит, – что это я.

– Правильно! Молодец! А это вот буква «я». Ясно?

– Ясно, – говорит. – Это буква ты.

– Да не ты, а я!

– Не я, а ты.

– Не я, а буква «я»!

– Не ты, а буква «ты».

– Не буква «ты», господи боже мой, а буква «я»!

– Не буква «я», господи боже мой, а буква «ты»!

Я опять вскочил и опять забегал по комнате.

– Нет такой буквы! – закричал я. – Пойми ты, бестолковая девчонка! Нет и не может быть такой буквы! Есть буква «я». Понимаешь? Я! Буква «я»! Изволь повторять за мной: я! я! я!..

– Ты, ты, ты, – пролепетала она, едва разжимая губы. Потом уронила голову на стол и заплакала. Да так громко и так жалобно, что весь мой гнев сразу остыл. Мне стало жалко ее.

– Хорошо, – сказал я. – Как видно, мы с тобой и в самом деле немного заработались. Возьми свои книги и тетрадки и можешь идти гулять. На сегодня

– хватит.

Она кое-как запихала в сумочку свое барахлишко и, ни слова мне не сказав, спотыкаясь и всхлипывая вышла из комнаты.

А я, оставшись один, задумался: что же делать? Как же мы в конце концов перешагнем через эту проклятую букву «я»?

«Ладно, – решил я. – Забудем о ней. Ну ее. Начнем следующий урок прямо с чтения. Может быть, так лучше будет».

И на другой день, когда Иринушка, веселая и раскрасневшаяся после игры, пришла на урок, я не стал ей напоминать о вчерашнем, а просто посадил ее за букварь, открыл первую попавшуюся страницу и сказал:

– А ну, сударыня, давайте-ка, почитайте мне что-нибудь.

Она, как всегда перед чтением, поерзала на стуле, вздохнула, уткнулась и пальцем и носиком в страницу и, пошевелив губами, бегло и не переводя дыхания, прочла:

– Тыкову дали тыблоко.

От удивления я даже на стуле подскочил:

– Что такое? Какому Тыкову? Какое тыблоко? Что еще за тыблоко?

Посмотрел в букварь, а там черным по белому написано:

«Якову дали яблоко».

Вам смешно? Я тоже, конечно, посмеялся. А потом говорю:

– Яблоко, Иринушка! Яблоко, а не тыблоко!

Она удивилась и говорит:

– Яблоко? Так значит, это буква «я»?

Я уже хотел сказать: «Ну конечно, «я»! А потом спохватился и думаю: «Нет, голубушка! Знаем мы вас. Если я скажу «я» – значит – опять пошло-поехало? Нет, уж сейчас мы на эту удочку не попадемся».

И я сказал:

– Да, правильно. Это буква «ты».

Конечно, не очень-то хорошо говорить неправду. Даже очень нехорошо говорить неправду. Но что же поделаешь! Если бы я сказал «я», а не «ты», кто знает, чем бы все это кончилось. И, может быть, бедная Иринушка так всю жизнь и говорила бы – вместо «яблоко» – тыблоко, вместо «ярмарка» – тырмарка, вместо «якорь» – тыкорь и вместо «язык» – тызык. А Иринушка, слава богу, выросла уже большая, выговаривает все буквы правильно, как полагается, и пишет мне письма без одной ошибки.

### Леонид ПАНТЕЛЕЕВ

## Маринка

С Маринкой мы познакомились незадолго до войны на парадной лестнице. Я открывал французским ключом дверь, а она в это время, возвращаясь с прогулки, проходила мимо, вся раскрасневшаяся, утомленная и разгоряченная игрой. Куклу свою она тащила за руку, и кукла ее, безжизненно повиснув, также выражала крайнюю степень усталости и утомления.

Я поклонился и сказал:

– Здравствуйте, красавица.

Девочка посмотрела на меня, ничего не ответила, засопела и стала медленно и неуклюже пятиться по лестнице наверх, одной рукой придерживаясь за перила, а другой волоча за собой несчастную куклу. На площадке она сделала передышку, еще раз испуганно посмотрела на меня сверху вниз, облегченно вздохнула, повернулась и, стуча каблучками, побежала наверх.

После этого я много раз видел ее из окна во дворе или на улице среди других детей. То тут, то там мелькал ее красный сарафанчик и звенел тонкий, иногда даже чересчур звонкий и капризный голосок.

Она была и в самом деле очень красива: черноволосая, курчавая, большеглазая, – еще немножко, и можно было бы сказать про нее: вылитая кукла. Но от полного сходства с фарфоровой куклой ее спасали живые глаза и живой, неподдельный, играющий на щеках румянец: такой румянец не наведешь никакой краской, про такие лица обычно говорят: «кровь с молоком».

Война помогла нам познакомиться ближе. Осенью, когда начались бомбежки, в моей квартире открылось что-то вроде филиала бомбоубежища. В настоящем убежище было недостаточно удобно и просторно, а я жил в первом этаже, и, хотя гарантировать своим гостям полную безопасность я, конечно, не мог, площади у меня было достаточно, и вот по вечерам у меня стало собираться обширное общество – главным образом дети с мамами, бабушками и дедушками.

Тут мы и закрепили наше знакомство с Маринкой. Я узнал, что ей шесть лет, что живет она с мамой и с бабушкой, что папа ее на войне, что читать она не умеет, но зато знает наизусть много стихов, что у нее шесть кукол и один мишка, что шоколад она предпочитает другим лакомствам, а «булочки за сорок» (то есть сорокакопеечные венские булки) простой французской…

Правда, все это я узнал не сразу и не все от самой Маринки, а больше от ее бабушки, которая, как и все бабушки на свете, души не чаяла в единственной внучке и делала все, чтобы избаловать ее и испортить. Однако девочка была сделана из крепкого материала и порче не поддавалась, хотя в характере ее уже сказывалось и то, что она «единственная», и то, что она проводит очень много времени со взрослыми. Застенчивость и развязность, ребенок и резонер – сочетались в ней очень сложно, а иногда и комично. То она молчит, дичится, жмется к бабушке, а то вдруг наберется храбрости и затараторит так, что не остановишь. При этом даже в тех случаях, когда она обращалась ко мне, она смотрела на бабушку, как бы ища у нее защиты, помощи и одобрения.

Между прочим, от бабушки я узнал, что Маринка ко всему прочему еще и артистка – поет и танцует.

Я попросил ее спеть. Он отвернулась и замотала головой.

– Ну, если не хочешь петь, может быть, спляшешь?

Нет, и плясать не хочет.

– Ну, пожалуйста, – сказал я. – Ну, чего ты боишься?

– Я не боюсь, я стесняюсь, – сказала она, посмотрев на бабушку, и, так же не глядя на меня, храбро добавила:

– Я ничего не боюсь. Я только немцев боюсь.

Я стал выяснять, с чего же это она вдруг боится немцев. Оказалось, что о немцах она имеет очень смутное представление. Немцы для нее в то время были еще чем-то вроде трубочистов или волков, которые рыщут в лесу и обижают маленьких и наивных красных шапочек. То, что происходит вокруг – грохот канонады за стеной, внезапный отъезд отца, исчезновение шоколада и «булочек за сорок», даже самое пребывание ночью в чужой квартире – все это в то время еще очень плохо связывалось в ее сознании с понятием «немец».

И страх был не настоящий, а тот, знакомый каждому из нас, детский страх, который вызывают в ребенке сказочные чудовища – всякие бабы-яги, вурдалаки и бармалеи…

Я, помню, спросил у Маринки, что бы она стала делать, если бы в комнату вдруг вошел немец.

– Я бы его стулом, – сказала она.

– А если стул сломается?

– Тогда я его зонтиком. А если зонтик сломается – я его лампой. А если лампа разобьется – я его галошей…

Она перечислила, кажется, все вещи, какие попались ей на глаза. Это была увлекательная словесная игра, в которой немцу уделялась очень скромная и пассивная роль – мишени.

Было это в августе или в сентябре 1941 года.

Потом обстоятельства нас разлучили, и следующая наша встреча с Маринкой произошла уже в январе нового, 1942 года.

Много перемен произошло за это время. Давно уже перестали собираться в моей квартире ночные гости. Да и казенные, общественные убежища тоже к этому времени опустели. Город уже давно превратился в передовую линию фронта, смерть стала здесь явлением обычным и привычным, и все меньше находилось охотников прятаться от нее под сводами кочегарок и подвалов.

Полярная ночь и полярная стужа стояли в ленинградских квартирах. Сквозь заколоченные фанерой окна не проникал дневной свет, но ветер и мороз оказались ловчее, они всегда находили для себя лазейки. На подоконниках лежал снег, он не таял даже в те часы, когда в комнате удавалось затопить «буржуйку».

Маринка уже два месяца лежала в постели.

Убогая фитюлька нещадно коптила, я не сразу разглядел, где что. Сгорбленная старушка, в которой я с трудом узнал Маринкину бабушку, трясущимися руками схватила меня за руку, заплакала, потащила в угол, где на огромной кровати, под грудой одеял и одежды теплилась маленькая Маринкина жизнь.

– Мариночка, ты посмотри, кто пришел к нам. Деточка, ты открой глазки, посмотри…

Маринка открыла глаза, узнала меня, хотела улыбнуться, но не вышло: не хватило силенок.

– Дядя… – сказала она.

Я сел у ее изголовья. Говорить я не мог. Я смотрел на ее смертельно бледное личико, на тоненькие, как ветки, ручки, лежавшие поверх одеяла, на заострившийся носик, на огромные ввалившиеся глаза – и не мог поверить, что это все, что осталось от Маринки, от девочки, про которую говорили: «кровь с молоком», от этой жизнерадостной, пышущей здоровьем резвушки.

Казалось, ничего детского не осталось в чертах ее лица.

Угрюмо смотрела она куда-то в сторону – туда, где на закоптелых, некогда голубых обоях колыхалась витиеватая тень от дымящей коптилки.

Я принес ей подарок – жалкий и убогий гостинец: кусок конопляной дуранды, завернутый, красоты ради, в тонкую папиросную бумагу. Больно было смотреть, как просияла она, с каким жадным хрустом впились ее мышиные зубки в каменную твердь этого лошадиного лакомства.

Воспитанная по всем правилам девочка, она даже забыла сказать мне «спасибо»; только расправившись наполовину с дурандой, она вспомнила о бабушке, предложила и ей кусочек. А подобрав последние крошки и облизав бумагу, она вспомнила и обо мне – молча посмотрела на меня и холодной ручкой дотронулась до моей руки.

– Бабушка, – сказала она. Голос у нее был хриплый, простуженный. – Бабушка, правда, как жалко, что когда мы немножко больше кушали, я не сплясала дяде?

Бабушка не ответила.

– А теперь что, не можешь? – спросил я.

Она покачала головой:

– Нет.

Бабушка опустилась на стул, заплакала.

– Боже мой, – сказала она. – Когда это все кончится только?!

Тут произошло нечто неожиданное. Маринка резко повернулась, подняла голову над подушкой и со слезами в голосе закричала:

– Ах, бабушка, замолчи, ты мне надоела! «Когда это кончится?!» Вот всех немцев перебьют, тогда и кончится…

Силенки изменили ей. Она снова упала на подушку.

Бабушка продолжала плакать. Я помолчал и спросил:

– А ты немцев все еще боишься, Маринка?

– Нет, не боюсь, – сказала она.

Пытаясь возобновить наш старый шуточный разговор, я сказал ей:

– А что ты станешь делать, если, скажем, немец вдруг войдет в твою комнату?

Она задумалась. Глубокие, недетские морщинки сбежались к ее переносице. Казалось, она трезво рассчитывает свои силы, стула ей теперь не поднять, до лампы не дотянуться, полена во всем доме днем с огнем не найдешь.

Наконец она ответила мне. Я не расслышал. Я только видел, как блеснули при этом ее маленькие крепкие зубки.

– Что? – переспросил я.

– Я его укушу, – сказала Маринка. И зубы ее еще раз блеснули, и сказано это было так, что, честное слово, я не позавидовал бы тому немцу, который отважился бы войти в эту холодную и закоптевшую, как вигвам, комнату.

Я погладил Маринкину руку и сказал:

– Он не придет, Маринка…

Много могил мы вырубили за эту зиму в промерзшей ленинградской земле. Многих и многих недосчитались мы по весне.

А Маринка выжила.

Я видел ее весной сорок второго года. Во дворе на солнышке играла она с подругами… Это была очень скромная, тихая и благопристойная игра. И это были еще не дети, а детские тени. Но уже чуть-чуть румянились их бледные личики, и некоторые из них уже прыгали на одной ножке, а это очень трудно – держаться на одной ноге: тот, кто пережил ленинградскую зиму, поймет и оценит это.

Увидев меня, Маринка бросилась мне навстречу.

– Дядя, – сказала она, обнимая меня, – какой вы седой, какой вы старый…

Мы поговорили с ней, поделились последними новостями. Оба мы по-настоящему радовались, что видим друг друга – какими ни на есть, худыми и бледными, но живыми. Ведь не всякому выпала эта радость.

Когда мы уже простились, Маринка снова окликнула меня.

– Дядя, – сказала она, смущенно улыбаясь, – знаете что, хотите, я вам спляшу?

– Ого! – сказал я. – Ты уже можешь плясать?

– Да! Немножко могу. Но только не здесь. Пойдемте, знаете куда? На задний двор, около помойки…

– Нет, Мариночка, не надо, – сказал я. – Побереги силенки – они тебе еще пригодятся. А спляшешь ты мне знаешь когда? Когда мы доживем до победы, когда разобьем фашистов.

– А это скоро?

Я сказал:

– Да, скоро.

И, сказав это, я почувствовал, что беру на себя очень большое обязательство. Это была уже не игра, это была присяга.

### Леонид ПАНТЕЛЕЕВ

## Новенькая

На улицах еще не совсем рассвело, и синие лампочки еще горели у подъездов и над воротами домов, а Володька Бессонов уже бежал в школу. Бежал он очень быстро, – во-первых, потому, что на улице было холодно: говорят, что таких морозов, как в этом, 1940 году, в Ленинграде не было уже сто лет; а во-вторых, Володьке очень хотелось самым первым явиться сегодня в класс. Вообще-то он не был особенно прилежным и выдающимся мальчиком. В другое время он, пожалуй, и опоздать не постеснялся бы. А тут – в первый день после каникул – было почему-то здорово интересно прийти именно первым и потом на каждом шагу и где только можно говорить:

– А вы знаете, я сегодня первый пришел!..

Он даже не остановился, чтобы посмотреть на огромные, выкрашенные в белую краску танки, которые, покачиваясь и оглушительно громыхая, проходили в это время по улице. Да это было и не очень-то интересно, – танков теперь в городе было, пожалуй, побольше, чем трамваев.

На одну минуту только остановился Володька на углу – послушать радио. Передавали оперативную сводку штаба Ленинградского военного округа. Но и тут ничего интересного не было сегодня: поиски разведчиков и на отдельных участках фронта ружейно-пулеметная и артиллерийская перестрелка…

В раздевалке тоже еще горела синяя лампочка. Старая нянюшка дремала, положив голову на деревянный прилавок, около пустых вешалок.

– Здрасти, нянечка! – заорал Володька, кидая свой портфель на прилавок.

Старуха испуганно вскочила и захлопала глазами.

– С добрым утром вас! Хорошего аппетита! – затараторил Володька, снимая пальто и галоши. – Что? Не ждали? А я ведь, вы знаете, первый пришел!!!

– А вот и врешь, балаболка, – сказала старуха, потягиваясь и зевая.

Володька оглянулся и увидел на соседней вешалке маленькое девичье пальто с белым, кошачьим или заячьим, воротником.

«Эх, надо же! – подумал он с досадой. – Какая-то фыфра обскакала на полкилометра…»

Он попытался по виду определить, чье это пальто. Но что-то не мог вспомнить, чтобы у какой-нибудь девочки в их классе было пальто с заячьим воротником.

«Значит, это из другого класса девчонка, – подумал он. – Ну, а из чужого класса не считается. Все равно я первый».

И, пожелав нянюшке «спокойной ночи», он подхватил свой портфель и поскакал наверх.

\*\*\*

…В классе за одной из первых парт сидела девочка. Это была какая-то совсем незнакомая девочка – маленькая, худенькая, с двумя белокурыми косичками и с зелеными бантиками на них. Увидев девочку, Володька подумал, что он ошибся и заскочил не в свой класс. Он даже попятился обратно к двери. Но тут он увидел, что класс этот – никакой не чужой, а его собственный, четвертый класс – вон на стене висит рыжий кенгуру с поднятыми лапами, вон коллекция бабочек в ящике за стеклом, вон его собственная, Володькина, парта.

– С добрым утром! – сказал Володька девочке. – Хорошего аппетита. Как вы сюда попали?

– Я – новенькая, – сказала девочка очень тихо.

– Ну? – удивился Володька. – А почему – зимой! А чего ж ты так рано?

Девочка ничего не сказала и пожала плечами.

– Может быть, ты не в тот класс пришла? – сказал Володька.

– Нет, в этот, – сказала девочка. – В четвертый «Б».

Володька подумал, почесал затылок и сказал:

– Чур, я тебя первый увидел.

Он прошел к своей парте, внимательно осмотрел ее, потрогал для чего-то крышку, – все было в порядке; и крышка открывалась и закрывалась, как полагается.

В это время в класс вошли две девочки. Володька захлопнул парту и закричал:

– Кумачева, Шмулинская! Здравствуйте! С добрым утром! У нас новенькая!.. Я ее первый увидел…

Девочки остановились и тоже с удивлением посмотрели на новенькую.

– Правда? Новенькая?

– Да, – сказала девочка.

– А почему ты зимой? А как тебя зовут?

– Морозова, – сказала девочка.

Тут появилось еще несколько человек. Потом еще. И всем Володька объявлял:

– Ребята! У нас новенькая! Ее зовут Морозова. Я ее первый увидел.

Новенькую обступили. Стали разглядывать, расспрашивать. Сколько ей лет? И как ее зовут? И почему она зимой поступает в школу?

– Я не тутэшняя, – потому, – сказала девочка.

– Что значит «не тутэшняя»? Ты что – не русская?

– Нет, русская. Только я с Украины приихала.

– С какой? С Западной?

– Нет. С Восточной, – сказала девочка.

Отвечала она очень тихо и коротко и, хотя не смущалась нисколько, была какая-то грустная, рассеянная, и все время казалось, что ей хочется вздохнуть.

– Морозова, хочешь давай будем сидеть со мной? – предложила ей Лиза Кумачева. – У меня место свободное.

– Давай, все равно, – сказала новенькая и пересела на Лизину парту.

В этот день почти весь класс явился раньше, чем обычно. Каникулы в этом году тянулись почему-то необыкновенно долго и томительно.

Ребята не виделись всего две недели, но за это время у каждого накопилось новостей больше, чем в другое время за все лето.

Волька Михайлов ездил с отцом в Териоки, видел взорванные и сожженные дома и слышал – правда, издалека – настоящие артиллерийские выстрелы. У Любы Казанцевой бандиты ограбили сестру, сняли с нее меховую жакетку, когда она возвращалась вечером домой с фабрики. У Жоржика Семенова ушел добровольцем на войну с белофиннами брат, известный лыжник и футболист. А у Володьки Бессонова хотя своих новостей и не было, зато он «своими ушами» слышал, как в очереди одна старуха говорила другой, будто «своими глазами» видела, как в Парголове около кладбища постовой милиционер сбил из нагана финский бомбардировщик…

Володьке не поверили, знали, что он балаболка, но все-таки дали ему поврать, потому что все-таки это было интересно и потому еще, что он очень смешно об этом рассказывал.

Заговорившись, ребята забыли о новенькой и не заметили, как прошло время. А за окнами уже совсем рассвело, и вот в коридоре зазвенел звонок, зазвенел как-то особенно – громко и торжественно.

Ребята быстрее, чем обычно, расселись по партам.

В это время в класс вбежала запыхавшаяся длинноногая Вера Макарова.

– Ребята! – закричала она. – Вы знаете… Новость!..

– Что? Что такое? Какая? – закричали вокруг.

– Вы знаете… у нас… у нас… новенькая…

– Ха! – захохотали ребята. – Новость! Давно без тебя знаем…

– Новенькая учительница, – сказала Вера.

– Учительница?

– Ага. Вместо Элеоноры Матвеевны будет. Ой, вы бы видели! – Вера всплеснула своими длинными руками. – Хорошенькая… Молоденькая… Глаза голубые, а волосы…

Ей не пришлось дорисовывать портрет новой учительницы. Открылась дверь, и на пороге появилась она сама – действительно очень молодая, голубоглазая, с двумя золотистыми косами, заплетенными, как венок, вокруг головы.

Ребята поднялись ей навстречу, и в тишине какая-то девочка громко прошептала своей соседке:

– Ой, и правда, какая хорошенькая!..

Учительница чуть заметно улыбнулась, подошла к своему столику, положила портфель и сказала:

– Здравствуйте, ребята. Вот вы какие! А мне говорили, что вы – маленькие. Садитесь, пожалуйста.

Ребята сели. Учительница прошлась по классу, остановилась, опять улыбнулась и сказала:

– Ну, давайте познакомимся. Меня зовут Елизавета Ивановна. А вас?

Ребята засмеялись. Учительница прошла к столу и раскрыла журнал.

– О, да вас тут много. Ну, давайте все-таки знакомиться. Антонова – кто это?

– Я! – сказала Вера Антонова, поднимаясь.

– Ну, расскажи мне немножко о себе, – сказала учительница, присаживаясь к столу. – Как тебя зовут? Кто твои папа и мама? Где ты живешь? Как ты учишься?

– Учусь – ничего, хорошо, – сказала Вера.

Ребята зафыркали.

– Ну, садись, – усмехнулась учительница. – Поживем – увидим. Следующий

– Баринова!

– Я!

– А тебя как зовут?

Баринова сказала, что ее зовут Тамара, что живет она в соседнем доме, что мама у нее буфетчица, а папа умер, когда она еще была маленькая.

Пока она это рассказывала, Володька Бессонов нетерпеливо ерзал на своей парте. Он знал, что его фамилия – следующая, и не мог дождаться очереди.

Не успела учительница вызвать его, как он вскочил и затараторил:

– Меня зовут Володя. Мне одиннадцать лет. Мой папа – парикм Я живу угол Обводного канала и Боровой. У меня есть собака Тузик…

– Тихо, тихо, – улыбнулась учительница. – Ладно, садись, хватит, о Тузике ты мне после расскажешь. А то я с твоими товарищами не успею познакомиться.

Так она постепенно, по алфавиту, опросила полкласса. Наконец подошла очередь новенькой.

– Морозова! – выкликнула учительница.

Со всех сторон закричали:

– Это новенькая! Елизавета Ивановна, она новенькая. Она сегодня первый раз.

Учительница внимательно посмотрела на маленькую, худенькую девочку, поднявшуюся из-за своей парты, и сказала:

– Ах, вот как?

– Елизавета Ивановна! – закричал Володька Бессонов, поднимая руку.

– Ну, что?

– Елизавета Ивановна, эта девочка новенькая. Ее зовут Морозова. Я ее сегодня первый увидел…

– Да, да, – сказала Елизавета Ивановна. – Мы уже слышали об этом. Ну, что ж, Морозова, – обратилась она к новенькой, – расскажи и ты нам о себе. Это будет интересно не только мне, но и твоим новым товарищам.

Новенькая тяжело вздохнула и посмотрела куда-то в сторону, в угол.

– Меня зовут Валя, – сказала она. – Мне будет скоро двенадцать лет. Я родилась у Киеви и все время там жила – с папой и мамой. А потом…

Тут она запнулась и совсем тихо, одними губами сказала:

– Потом мой папа…

Что-то мешало ей говорить.

Учительница вышла из-за стола.

– Хорошо, Морозова, – сказала она, – хватит. Ты после расскажешь.

Но было уже поздно. У новенькой задрожали губы, она повалилась на парту и громко, на весь класс заплакала.

Ребята повскакали со своих мест.

– Что с тобой? Морозова! – крикнула учительница.

Новенькая не отвечала. Она уткнулась лицом в сложенные на парте руки и делала все, чтобы сдержать слезы, но, как ни старалась, как ни сжимала зубы,

– слезы все текли и текли, и плакала она все громче и все безутешнее.

Учительница подошла к ней и положила руку ей на плечо.

– Ну, Морозова, – сказала она, – милая, ну, успокойся…

– Елизавета Ивановна, может быть, она больная? – сказала ей Лиза Кумачева.

– Нет, – ответила учительница.

Лиза взглянула на нее и увидела, что учительница стоит, закусив губу, и что глаза у нее стали мутные, и что она тяжело и порывисто дышит.

– Морозова… не надо, – сказала она и погладила новенькую по голове.

В это время за стеной зазвенел звонок, и учительница, ни слова не сказав, повернулась, подошла к своему столу, взяла портфель и быстро вышла из класса.

Новенькую со всех сторон окружили. Стали ее теребить, уговаривать, успокаивать. Кто-то побежал в коридор за водой, и когда она, стуча зубами, сделала несколько глотков из жестяной кружки, она успокоилась немножко и даже сказала «спасибо» тому, кто ей принес воду.

– Морозова, ты что? Что с тобой? – спрашивали вокруг.

Новенькая не отвечала, всхлипывала, глотала слезы.

– Да что с тобой? – не отставали ребята, наседая со всех сторон на парту.

– Ребята, уйдите! – отталкивала их Лиза Кумачева. – Ну, как вам не стыдно! Мало ли… может быть, у нее кто-нибудь Эти слова подействовали и на ребят и на новенькую. Новенькая опять повалилась на парту и еще громче заплакала, а ребята смутились, замолчали и стали понемногу расходиться.

Когда, после звонка, Елизавета Ивановна снова появилась в классе, Морозова уже не всхлипывала, только изредка шмыгала носом и сжимала в руке маленький, промокший до последней ниточки платок.

Учительница ей ничего больше не сказала и сразу же приступила к уроку.

Вместе со всем классом новенькая писала диктовку. Собирая тетради, Елизавета Ивановна остановилась около ее парты и негромко спросила.

– Ну, как, Морозова?

– Хорошо, – пробурчала новенькая.

– Может быть, тебе лучше все-таки пойти домой?

– Нет, – сказала Морозова и отвернулась.

Больше за весь день Елизавета Ивановна к ней не обращалась и не вызывала ее ни на русском ни на арифметике. Товарищи тоже оставили ее в покое.

В конце концов, что тут особенно интересного в том, что маленькая девочка заплакала на уроке? О ней просто забыли. Только Лиза Кумачева почти каждую минуту спрашивала у нее, как она себя чувствует, и новенькая или говорила ей «спасибо», или ничего не отвечала, а только кивала головой.

Кое-как досидела она до конца уроков, и не успел отзвенеть последний звонок, как она торопливо собрала свои книжки и тетради, затянула их ремешком и побежала к выходу.

У вешалки, постукивая номерком о прилавок, уже стоял Володька Бессонов.

– Вы знаете, нянечка, – говорил он, – у нас в классе новенькая. Ее зовут Морозова. Она с Украины приехала. С Восточной… Вот она! – сказал он, увидев Морозову. Потом посмотрел на нее, сморщил нос и сказал: – Что, плакса-вакса, не удалось обскакать? Я все-таки первый ухожу. Да-с.

Новенькая взглянула на него с удивлением, а он прищелкнул языком, повернулся на каблуках и стал натягивать пальто, – как-то по-особенному, всовывая руки в оба рукава сразу.

Из-за Володьки новенькой не удалось уйти незамеченной из школы. Пока она одевалась, в раздевалке набился народ.

Застегивая на ходу коротенькое пальтецо с белым заячьим воротником, она вышла на улицу. Почти следом за ней выбежала на улицу Лиза Кумачева.

– Морозова, тебе в какую сторону? – сказала она.

– Мне – сюда, – показала налево новенькая.

– Ой, по пути, значит, – сказала Лиза, хотя идти ей нужно было совсем в другую сторону. Просто ей очень хотелось поговорить с новенькой.

– Ты на какой улице живешь? – спросила она, когда они дошли до угла.

– А что? – спросила новенькая.

– Ничего… Просто так.

– На Кузнечном, – сказала новенькая и зашагала быстрее. Лиза еле-еле поспевала за ней. Ей очень хотелось как следует расспросить новенькую, но она не знала, с чего начать.

– Правда, Елизавета Ивановна хорошенькая? – сказала она.

Новенькая помолчала и спросила:

– Это какая Елизавета Ивановна? Учительница?

– Да. Правда, она чудная?

– Ничего, – пожала плечами новенькая.

Здесь, на улице, в своем легком пальтишке она казалась еще меньше, чем в классе. Нос и все лицо у нее на морозе страшно покраснели. Лиза решила, что лучше всего заговорить для начала о погоде.

– У вас что – на Украине – теплее или холоднее? – сказала она.

– Трохи теплей, – сказала новенькая. Вдруг она убавила шаг, посмотрела на свою спутницу и сказала:

– Скажи, это очень глупо, що я так ревела сегодня у классе?

– Ну, почему? – пожала плечами Лиза. – У нас тоже девочки плачут… А ты почему плакала, что у тебя случилось, а?

Она думала почему-то, что новенькая ей не ответит. Но та посмотрела на Лизу и сказала:

– У меня папа пропал.

Лиза даже остановилась от удивления.

– Как пропал? – сказала она.

– Он – летчик, – сказала новенькая.

– А где он – в Киеве пропал?

– Нет, здесь – на фронте…

Лиза открыла рот.

– Он что у тебя – на войне?

– Ну, да, конечно, – сказала новенькая, и Лиза, посмотрев на нее, увидела, что у нее в глазах опять блестят слезы.

– А как же он пропал?

– Ну, как вообще на войне пропадают. Улетел, и никто не знает, що с ним. Одиннадцать дней от него писем не было.

– Может быть, некогда ему? – неуверенно сказала Лиза.

– Ему и всегда некогда, – сказала новенькая. – А он все-таки в декабре оттуда восемь листиков прислал.

– Да, – сказала Лиза и покачала головой. – А вы когда, давно из Киева приехали?

– Мы сразу, вместе с ним приихалы, як только война началась – на третий день.

– И мама твоя приехала?

– Конечно.

– Ох, наверно, она тоже волнуется! – сказала Лиза. – Плачет, наверно, да?

– Нет, – сказала новенькая. – Моя мама умиет не плакать…

Она посмотрела на Лизу, сквозь слезы усмехнулась и сказала:

– А я вот не умию…

Лиза хотела сказать ей что-нибудь хорошее, теплое, утешительное, но в эту минуту новенькая остановилась, протянула ей руку и сказала:

– Ну, до свиданья, теперь я одну пойду.

– Почему? – удивилась Лиза. – Это ж еще не Кузнечный. Я тебя провожу.

– Нет, нет, – сказала новенькая и, торопливо пожав Лизину руку, побежала дальше одна.

Лиза видела, как она свернула за угол – в Кузнечный переулок. Из любопытства Лиза тоже дошла до угла, но когда она заглянула в переулок – новенькой там уже не было.

\*\*\*

На следующее утро Валя Морозова пришла в школу очень поздно, перед самым звонком. Когда она появилась в классе, там сразу стало очень тихо, хотя за минуту до этого стоял такой гвалт, что в окнах звенели стекла, а мертвые бабочки в классной коллекции шевелили крылышками, как живые. По тому, как участливо и жалостливо все на нее посмотрели, новенькая поняла, что Лиза Кумачева уже успела рассказать о вчерашнем их разговоре на улице. Она покраснела, смутилась, пробормотала «здравствуйте», и весь класс, как один человек, ответил ей:

– Здравствуй, Морозова!

Ребятам, конечно, было очень интересно узнать, что у нее слышно нового и нет ли известий от отца, но никто не спросил у нее об этом, и только Лиза Кумачева, когда новенькая уселась рядом с ней за парту, негромко сказала:

– Что, нет?

Морозова покачала головой и глубоко вздохнула.

За ночь она еще больше осунулась и похудела, но, как и вчера, жиденькие белокурые косички ее были тщательно заплетены, и в каждой из них болтался зеленый шелковый бантик.

Когда зазвенел звонок, к парте, где сидели Морозова и Кумачева, подошел Володька Бессонов.

– Здравствуй, Морозова. С добрым утром, – сказал он. – Сегодня погода хорошая. Двадцать два градуса только. А вчера двадцать девять было.

– Да, – сказала Морозова.

Володька постоял, помолчал, почесал затылок и сказал:

– А что, интересно, Киев большой город?

– Большой.

– Больше Ленинграда?

– Меньше.

– Интересно, – сказал Володька, помотав головой. Потом он еще помолчал и сказал:

– А как, интересно, будет по-украински собака? А?

– А что? – сказала Морозова. – Так и будет – собака.

– Гм, – сказал Володька. Потом он вдруг тяжело вздохнул, покраснел, посопел носом и сказал:

– Ты… это… как его… не сердись, что я тебя вчера плаксой-ваксой назвал.

Новенькая улыбнулась и ничего не ответила. А Володька еще раз шмыгнул носом и отправился к своей парте. Через минуту Морозова услышала его звонкий, захлебывающийся голос:

– Ребята, вы знаете, как по-украински будет собака? Не знаете? А я знаю…

– Ну, как же, интересно, будет по-украински собака?

Володька оглянулся. В дверях, с портфелем под мышкой, стояла Елизавета Ивановна, новая учительница.

– Собака – собака и будет, Елизавета Ивановна, – сказал Володька, поднимаясь вместе с другими навстречу учительнице.

– Ах, вот как? – улыбнулась учительница. – А я думала, как-нибудь поинтереснее. Здравствуйте, товарищи. Садитесь, пожалуйста.

Она положила на столик портфель, поправила на затылке волосы и опять улыбнулась:

– Ну, как поживают наши уроки?

– Ничего, Елизавета Ивановна, спасибо. Живы, здоровы! – закричал Володька.

– А это мы сейчас увидим, – сказала учительница, раскрывая классный журнал.

Взгляд ее пробежал по списку учеников. Все, кто не очень уверенно чувствовали себя в этот день в арифметике, – съежились и насторожились, только Володька Бессонов нетерпеливо подпрыгивал на своей задней парте, мечтая, как видно, что его и тут вызовут первым.

– Морозова – к доске! – сказала учительница.

Почему-то по классу пробежал ропот. Всем показалось, наверно, что это не очень-то хорошо, что вызывают Морозову. Можно было бы сегодня ее и не беспокоить.

– Отвечать можешь? – спросила у новенькой учительница. – Уроки выучила?

– Выучила. Могу, – чуть слышно ответила Морозова и пошла к доске.

Отвечала она урок очень плохо, путалась и сбивалась, и Елизавета Ивановна несколько раз обращалась за помощью к другим. И все-таки не отпускала ее и держала у доски, хотя все видели, что новенькая еле стоит на ногах, и что мел у нее в руке дрожит, и цифры на доске прыгают и не хотят стоять прямо.

Лиза Кумачева готова была расплакаться. Она не могла спокойно смотреть, как бедная Валя Морозова в десятый раз выписывает на доске неправильное решение, стирает его и пишет снова, и опять стирает, и опять пишет. А Елизавета Ивановна смотрит на нее, качает головой и говорит:

– Нет, неправильно. Опять неправильно.

«Ах, – думала Лиза. – Если бы Елизавета Ивановна знала! Если б она знала, как тяжело сейчас Вале! Она бы отпустила ее. Она бы не стала ее мучить».

Ей хотелось вскочить и закричать: «Елизавета Ивановна! Хватит! Довольно!..»

Наконец, новенькой удалось написать правильное решение. Учительница отпустила ее и поставила в журнале отметку.

– Теперь попросим к доске Бессонова, – сказала она.

– Так и знал! – закричал Володька, вылезая из-за своей парты.

– А уроки ты знаешь? – спросила учительница. – Задачи решил? Не трудно было?

– Хе! Легче пуха и пера, – сказал Володька, подходя к доске. Я, вы знаете, за десять минут все восемь штук решил.

Елизавета Ивановна дала ему задачу на что же правило. Володька взял мел и задумался. Так он думал минут пять, по меньшей мере. Он вертел в пальцах огрызок мела, писал в уголке доски какие-то малюсенькие цифры, стирал их, чесал нос, чесал затылок.

– Ну, как же? – не выдержала наконец Елизавета Ивановна.

– Минуточку, – сказал Володька. – Минуточку… я сейчас… Как же это?

– Садись, Бессонов, – сказала учительница.

Володька положил мел и, ни слова не говоря, вернулся на свое место.

– Видали! – обратился он к ребятам. – Каких-нибудь пять минуток у доски постоял и – целую двойку заработал.

– Да, да, – сказала Елизавета Ивановна, оторвавшись от журнала. – Одним словом – легче пуха и пера.

Ребята долго смеялись над Володькой. Смеялась и Елизавета Ивановна, и сам Володька. И даже новенькая улыбалась, но видно было, что ей не смешно, что улыбается она только из вежливости, за компанию, а на самом деле ей не смеяться, а плакать хочется… И, взглянув на нее, Лиза Кумачева поняла это и первая перестала смеяться.

В перемену несколько девочек собрались в коридоре у кипяточного бака.

– Вы знаете, девочки, – сказала Лиза Кумачева, – я хочу поговорить с Елизаветой Ивановной. Надо ей рассказать про новенькую… Чтобы она с ней не так строго. Ведь она не знает, что у Морозовой такое несчастье.

– Пойдемте, поговорим с ней, – предложила Шмулинская.

И девочки гурьбой побежали в учительскую.

В учительской рыжая Марья Васильевна, из четвертого «А», разговаривала по телефону.

– Да, да… хорошо… да! – кричала она в телефонную трубку и, кивая, как утка, головой, без конца повторяла: – Да… да… да… да… да… да…

– Вам что, ребята? – сказала она, оторвавшись на минуту от трубки.

– Елизаветы Ивановны тут нет? – спросили девочки.

Учительница показала головой на соседнюю комнату.

– Елизавета Ивановна! – крикнула она. – Вас ребята спрашивают.

Елизавета Ивановна стояла у окна. Когда Кумачева и другие вошли в комнату, она быстро повернулась, подошла к столу и склонилась над грудой тетрадок.

– Да? – сказала она, и девочки увидели, что она торопливо вытирает платком глаза.

От неожиданности они застряли в дверях.

– Что вы хотели? – сказала она, внимательно перелистывая тетрадку и что-то разглядывая там.

– Елизавета Ивановна, – сказала, выступая вперед, Лиза. – Мы хотели… это… мы хотели поговорить относительно Вали Морозовой.

– Ну? Что? – сказала учительница и, оторвавшись от тетрадки внимательно посмотрела на девочек.

– Вы знаете, – сказала Лиза, – ведь у нее отец…

– Да, да, девочки, – перебила ее Елизавета Ивановна. – Я знаю об этом. Морозова очень страдает. И это хорошо, что вы о ней заботитесь. Не надо только показывать, что вы ее жалеете и что она несчастнее других. Она очень слабая, болезненная… в августе у нее был дифтерит. Надо, чтобы она поменьше думала о своем горе. Сейчас о своем много думать нельзя – не время. Ведь у нас, милые мои, самое ценное, самое дорогое в опасности – наша Родина. А что касается Вали – будем надеяться, что отец ее жив.

Сказав это, она опять склонилась над тетрадкой.

– Елизавета Ивановна, – сказала, засопев, Шмулинская, – а вы почему плачете?

– Да, да, – сказали, окружив учительницу, остальные девочки. – Что с вами, Елизавета Ивановна?

– Я? – повернулась к ним учительница. – Да что с вами, голубушки! Я не плачу. Это вам показалось. Это, наверно, с мороза у меня глаза заслезились. И потом – здесь так накурено…

Она помахала рукой около своего лица.

Шмулинская понюхала воздух. В учительской табаком не пахло. Пахло сургучом, чернилами, чем угодно – только не табаком.

В коридоре затрещал звонок.

– Ну, шагом марш, – весело сказала Елизавета Ивановна и распахнула дверь.

В коридоре девочки остановились и переглянулись.

– Плакала, – сказала Макарова.

– Ну, факт, что плакала, – сказала Шмулинская. – И не накурено ни чуточки. Я даже воздух понюхала…

– Вы знаете, девочки, – сказала, подумав, Лиза. – Я думаю, что у нее тоже какое-нибудь несчастье…

После этого Елизавету Ивановну никогда больше не видели с заплаканными глазами. И в классе, на уроках, она всегда была веселая, много шутила, смеялась, а в большую перемену даже играла с ребятами во дворе в снежки.

К Морозовой она относилась так же, как и к остальным ребятам, задавала ей на дом не меньше, чем другим, и отметки ставила без всякой поблажки.

Училась Морозова неровно, то отвечала на «отлично», то вдруг подряд получала несколько «плохо». И все понимали, что это не потому, что она лентяйка или неспособная, а потому, что, наверно, дома она вчера весь вечер проплакала и мама ее, наверно, плакала, и – где ж тут заниматься?

А в классе Морозову тоже никогда больше не видели плачущей. Может быть, это потому, что никто никогда не заговаривал с ней об ее отце, даже самые любопытные девочки, даже Лиза Кумачева. Да и что было спрашивать? Если бы отец ее вдруг нашелся, она бы и сама, наверно, сказала, да и говорить не надо – по глазам было бы видно.

Только один раз Морозова не выдержала. Это было в начале февраля. В школе собирали подарки для посылки бойцам на фронт. После уроков, уже в сумерках, собрались ребята в классе, шили мешочки, набивали их конфетами, яблоками и папиросами. Валя Морозова тоже работала вместе со всеми. И вот тут, когда она зашивала один из мешочков, она заплакала. И несколько слезинок капнуло на этот парусиновый мешок. И все это увидели и поняли, что, наверно, в эту минуту Валя подумала об отце. Но никто ей ничего не сказал. И скоро она перестала плакать.

А на другой день Морозова не пришла в школу. Всегда она приходила одной из первых, а тут уже прозвенел звонок, и все расселись по своим местам, и уже Елизавета Ивановна показалась в дверях, а ее все не было.

Учительница, как всегда весело и приветливо, поздоровалась с классом, села за столик и принялась перелистывать журнал.

– Елизавета Ивановна! – крикнула ей с места Лиза Кумачева. – Вы знаете, почему-то Морозовой нет…

Учительница оторвалась от журнала.

– Морозова сегодня не придет, – сказала она.

– Как не придет? Почему не придет? – послышалось со всех сторон.

– Морозова заболела, – сказала Елизавета Ивановна.

– А что? Откуда вы знаете? Что – разве мама ее приходила?

– Да, – сказала Елизавета Ивановна, – приходила мама.

– Елизавета Ивановна! – закричал Володька Бессонов. – Может быть, у нее отец нашелся?!.

– Нет, – покачала головой Елизавета Ивановна. И сразу же заглянула в журнал, захлопнула его и сказала:

– Баринову Тамару – прошу к доске.

\*\*\*

На другой день Морозова тоже не пришла. Лиза Кумачева и еще несколько девочек решили после уроков пойти ее навестить. В большую перемену они подошли в коридоре к учительнице и сказали, что хотели бы навестить больную Морозову, нельзя ли узнать ее адрес.

Елизавета Ивановна подумала минутку и сказала:

– Нет, девочки… У Морозовой, кажется, ангина, а это опасно. Не стоит к ней ходить.

И, ничего больше не сказав, пошла в учительскую.

А следующий день был выходной.

Накануне Лиза Кумачева очень долго провозилась с уроками, легла позже всех и собиралась как следует поспать – часов до десяти или до одиннадцати. Но было еще совсем темно, когда ее разбудил оглушительный звонок на кухне. В полусне она слышала, как мать открывает дверь, потом услышала какой-то знакомый голос и не сразу могла сообразить, чей это голос.

Захлебываясь и проглатывая слова, кто-то громко говорил на кухне:

– У нас в классе есть девочка. Она с Украины приехала. Ее зовут Морозова…

«Что такое? – подумала Лиза. – Что случилось?»

Второпях она натянула задом наперед платье, сунула ноги в валенки и выбежала на кухню.

Размахивая руками, Володька Бессонов что-то объяснял Лизиной маме.

– Бессонов! – окликнула его Лиза.

Володька даже не сказал «с добрым утром».

– Кумачева, – кинулся он к Лизе, – ты не знаешь, как у Морозовой отца зовут?

– Нет, – сказала Лиза. – А что такое?

– Он не капитан?

– Не знаю. А что? В чем дело?

Володька прищелкнул языком, покачал головой.

– Плохо, если не капитан, – сказал он.

– Да что такое? – чуть не закричала Лиза.

– Понимаешь, – сказал Володька. – У меня есть собака. Ее зовут Тузик. Я ее каждый выходной вожу гулять. Утром.

– Какой Тузик? – ничего не понимая, спросила Лиза.

– Тузик. Собака. Ну, не в этом дело. Одним словом, я ее повел гулять. А на улице радио. И передают Указ. Понимаешь? О награждениях бойцов и командиров. Я слушаю и вдруг слышу: за проявленную доблесть и так далее – присвоить звание Героя Советского Союза командиру эскадрильи капитану Морозову Ивану… и какое-то отчество, я только не разобрал, трудное какое-то.

– Командиру эскадрильи? Правда? – сказала Лиза.

– Вот в том-то и дело… Я думаю, может, это он? Ведь он летчик?

– Ну да. Ну конечно, – сказала Лиза. – Ой, как бы узнать, как его зовут?

– Я же тебе говорю – Иван зовут… забыл только отчество… Фиктилис-тович, кажется.

– Филимонович, может быть? – сказала Лизина мама.

– Нет, – сказал Володька, – Фиктилистович.

– А может, это не он? – сказала Лиза.

– А вы к этой – к Морозовой сбегайте, – посоветовала мать. – Чего ж лучше-то. Вот и узнаете.

– Я же ее адреса не знаю, – чуть не плача, сказала Лиза.

– Как? – испугался Володька. – Не ври! Не знаешь, где она живет?

– Нет, – сказала Лиза. – Знаю только, что в Кузнечном переулке, в первом или во втором доме от угла.

– Эх, – сказал Володька. – А я-то, дурак, бежал, даже Тузика на улице бросил. Я думал, ты знаешь. Ведь вы же подруги…

– Знаю только, что на Кузнечном, – растерянно повторила Лиза.

– На Кузнечном? – подумав, переспросил Володька. – Говоришь, второй дом от угла?

– Да. Второй или первый. Или, может быть, третий…

– Может быть, двадцать третий? – рассердился Володька. – А ну, одевайся. Побежали. Может, найдем…

Через десять минут они уже были в Кузнечном переулке.

– Под воротами есть такие доски, – говорил Володька. – Деревянные. Там написано, где какой жилец живет. Будем искать Морозовых.

Они обошли пять или шесть домов, проглядели все доски, и нигде Морозовых не было.

Володька уж стал ругаться и говорить, что, наверно, Лиза путает что-нибудь и что напрасно он оставил на улице Тузика…

Он уже хотел на все плюнуть и бежать разыскивать своего Тузика, как вдруг Лиза схватила его за руку.

– Бессонов, смотри, – сказала она, – Елизавета Ивановна идет.

Володька посмотрел и увидел, что по улице действительно идет Елизавета Ивановна, их классная воспитательница. Они побежали ей навстречу и так разлетелись, что чуть не сбили ее с ног.

– Елизавета Ивановна, здравствуйте, с добрым утром! – заговорили они в один голос.

Учительница испуганно попятилась.

– Здравствуйте, ребята, – сказала она.

– Елизавета Ивановна, – не дав ей опомниться, заговорил Володька, – вы не знаете случайно, где Валя Морозова живет?

– А что такое? – спросила учительница.

– Ой, вы бы знали, – сказала Лиза. – Нам – прямо я сказать не могу – до чего ее нужно видеть!..

– Елизавета Ивановна! Вы же знаете, наверно? – сказал Володька.

– Да, – сказала, подумав, учительница. – Знаю. Морозова здесь, вот в этом кирпичном доме живет.

– И квартиру знаете?

– И квартиру знаю, – сказала учительница. – А в чем дело?

– Вы понимаете, Елизавета Ивановна, – сказала Лиза. – У нее, кажется, отец нашелся.

– У кого? – сказала учительница.

– У Вали!

И тут ребята увидели, что Елизавета Ивановна побледнела, как снег, и губы у нее задергались – не то она хочет смеяться, не то плакать.

– Что? – сказала она. – Что вы говорите?

Ребята, путаясь и перебивая друг друга, рассказали ей о том, что передавали сегодня утром по радио.

Когда дело дошло до отчества капитана Морозова, Володька опять застрял.

– Филикт… – начал он. – Или Феликст…

– Феоктистович, – сказала учительница.

– Правильно! Во-во! – закричал Володька. – Феоктелистович! Елизавета Ивановна, а откуда вы знаете?..

Учительница закрыла рукой глаза.

– Идемте, – сказала она. – Идемте скорей к Морозовой.

И она побежала так быстро, что ребята едва успевали за ней, а прохожие останавливались и смотрели ей вслед.

– Сюда, – сказала она ребятам и свернула в ворота большого кирпичного дома, второго от угла.

– Ну, что? Я тебе говорила, – сказала Володьке Лиза.

– Елизавета Ивановна, – сказал Володька. – Мы уже тут были. Тут никаких Морозовых нет.

– Идемте, идемте, ребята, – сказала Елизавета Ивановна, не останавливаясь.

– Елизавета Ивановна, ведь правда? – сказала Лиза, когда они уже поднимались по черной лестнице. – Ведь, может, это и в самом деле Валин отец?

– Да, милая, – сказала Елизавета Ивановна. – Это он. Иван Феоктистович Морозов, капитан, командир эскадрильи. Это Валин отец.

На площадке четвертого этажа учительница остановилась, вынула из сумочки ключ и открыла этим ключом французский замок. Ребята не успели удивиться, как она распахнула дверь и сказала:

– Пожалуйста, милости просим.

В коридоре было темно.

– Осторожно, – сказала Елизавета Ивановна. – Здесь сундук.

И хотя она это сказала, Володька все-таки успел наткнуться на этот сундук. От неожиданности он вскрикнул.

– Мама, это ты? – послышался за дверью тоненький голосок, и ребята узнали голос Вали Морозовой.

– Я, – сказала Елизавета Ивановна, распахнув дверь.

– Что ты так скоро? Уже достала?

– Нет, доченька, – сказала Елизавета Ивановна. – Я не достала газету. Но зато посмотри, какую я тебе привела замечательную живую газету…

Валя Морозова лежала в постели. Приподнявшись над подушкой, она испуганно и смущенно смотрела на Володьку и Лизу, которые, не менее смущенные и не менее испуганные, застряли в дверях.

Минуту Валя смотрела на них, потом вдруг вскрикнула и юркнула головой под одеяло.

Елизавета Ивановна подбежала к ее кровати и стала стягивать с нее одеяло.

– Вылезай, вылезай! – сказала она. – Хватит нам прятаться. Горевали мы в одиночку, а радоваться будем вместе…

И она так громко засмеялась, что Валя не выдержала и высунулась из-под одеяла.

– Что? – сказала она.

Елизавета Ивановна опустилась на колени около ее кровати и обняла девочку.

– Валечка! Папа жив, – сказала она.

Несколько секунд Валя внимательно смотрела на нее, потом уронила голову в подушку и тихо заплакала.

А когда она оторвалась от подушки, ребята увидели, что она уже не плачет, а смеется. И тут, когда она засмеялась, и Володька, и Лиза в первый раз заметили, что она очень хорошенькая, и что у нее белые зубы и очень красивые золотистые волосы, а самое главное, что она, как две капли воды, похожа на Елизавету Ивановну.

Ребята удивились, хотя ничего удивительного, конечно, в этом не было.

### Леонид ПАНТЕЛЕЕВ

**Платочек**

Недавно я познакомился в поезде с одним очень милым и хорошим человеком. Ехал я из Красноярска в Москву, и вот ночью на какой-то маленькой, глухой станции в купе, где до тех пор никого, кроме меня, не было, вваливается огромный краснолицый дядя в широченной медвежьей дохе, в белых бурках и в пыжиковой долгоухой шапке.

Я уже засыпал, когда он ввалился. Но тут, как он загромыхал на весь вагон своими чемоданами и корзинами, я сразу очнулся, приоткрыл глаза и, помню, даже испугался.

«Батюшки! – думаю. – Это что же еще за медведь такой на мою голову свалился?!»

А великан этот не спеша разложил по полочкам свои пожитки и стал раздеваться.

Снял шапку, вижу – голова у него совсем белая, седая.

Скинул доху – под дохой военная гимнастерка без погон, и на ней не в один и не в два, а в целых четыре ряда орденские ленточки.

Я думаю:

«Ого! А медведь-то, оказывается, действительно бывалый!»

И уже смотрю на него с уважением. Глаз, правда, не открыл, а так – сделал щелочки и наблюдаю осторожно.

А он сел в уголок у окошка, попыхтел, отдышался, потом расстегивает на гимнастерке кармашек и, вижу, достает маленький-премаленький носовой платочек. Обыкновенный платочек, какие молоденькие девушки в сумочках носят.

Я, помню, уже и тогда удивился. Думаю:

«Зачем же ему этакий платочек? Ведь такому дяде такого платочка небось и на полноса не хватит?!»

Но он с этим платком ничего не стал делать, а только разгладил его на коленке, скатал в трубочку и в другой карман переложил. Потом посидел, подумал и стал стягивать бурки.

Мне это было неинтересно, и скоро я уже по-настоящему, а не притворно заснул.

Ну, а наутро мы с ним познакомились, разговорились: кто, да куда, да по каким делам едем… Через полчаса я уже знал, что попутчик мой – бывший танкист, полковник, всю войну воевал, восемь или девять раз ранен был, два раза контужен, тонул, из горящего танка спасался…

Ехал полковник в тот раз из командировки в Казань, где он тогда работал и где у него семейство находилось. Домой он очень спешил, волновался, то и дело выходил в коридор и справлялся у проводника, не опаздывает ли поезд и много ли еще остановок до пересадки.

Я, помню, поинтересовался, велика ли у него семья.

– Да как вам сказать… Не очень, пожалуй, велика. В общем ты, да я, да мы с тобой.

– Это сколько же выходит?

– Четверо, кажется.

– Нет, – я говорю. – Насколько я понимаю, это не четверо, а всего двое.

– Ну что ж, – смеется. – Если угадали – ничего не поделаешь. Действительно двое.

Сказал это и, вижу, расстегивает на гимнастерке кармашек, сует туда два пальца и опять тянет на свет божий свой маленький, девичий платок.

Мне смешно стало, я не выдержал и говорю:

– Простите, полковник, что это у вас такой платочек – дамский?

Он даже как будто обиделся.

– Позвольте, – говорит. – Это почему же вы решили, что он дамский?

Я говорю:

– Маленький.

– Ах, вот как? Маленький?

Сложил платочек, подержал его на своей богатырской ладошке и говорит:

– А вы знаете, между прочим, какой это платочек?

Я говорю:

– Нет, не знаю.

– В том-то и дело. А ведь платочек этот, если желаете знать, не простой.

– А какой же он? – я говорю. – Заколдованный, что ли?

– Ну, заколдованный не заколдованный, а вроде этого… В общем, если желаете, могу рассказать.

Я говорю:

– Пожалуйста. Очень интересно.

– Насчет интересности поручиться не могу, а только лично для меня эта история имеет значение преогромное. Одним словом, если делать нечего – слушайте. Начинать надо издалека. Дело было в тысяча девятьсот сорок третьем году, в самом конце его, перед новогодними праздниками. Был я тогда майор и командовал танковым полком. Наша часть стояла под Ленинградом. Вы не были в Питере в эти годы? Ах, были, оказывается? Ну, вам тогда не нужно объяснять, что представлял собой Ленинград в это время. Холодно, голодно, на улицах бомбы и снаряды падают. А в городе между тем живут, работают, учатся…

И вот в эти самые дни наша часть взяла шефство над одним из ленинградских детских домов.

В этом доме воспитывались сироты, отцы и матери которых погибли или на фронте, или от голода в самом городе. Как они там жили, рассказывать не надо. Паечек усиленный, конечно, по сравнению с другими, а все-таки, сами понимаете, ребята сытые спать не ложились. Ну, а мы были народ зажиточный, снабжались по-фронтовому, денег не тратили, – мы этим ребятам кое-чего подкинули. Уделили им из пайка своего сахару, жиров, консервов… Купили и подарили детдому двух коров, лошадку с упряжкой, свинью с поросятами, птицы всякой: курей, петухов, ну, и всего прочего – одежды, игрушек, музыкальных инструментов… Между прочим, помню, сто двадцать пять пар детских салазок им преподнесли: пожалуйста, дескать, катайтесь, детки, на страх врагам!..

А под Новый год устроили ребятам елку. Конечно, уж и тут постарались: раздобыли елочку, как говорится, выше потолка. Одних елочных игрушек восемь ящиков доставили.

А первого января, в самый праздник, отправились к своим подшефным в гости. Прихватили подарков и поехали на двух «виллисах» делегацией к ним на Кировские острова.

Встретили нас – чуть с ног не сбили. Всем табором во двор высыпали, смеются, «уру» кричат, обниматься лезут…

Мы им каждому личный подарок привезли. Но и они тоже, вы знаете, в долгу перед нами оставаться не хотят. Тоже приготовили каждому из нас сюрприз. Одному кисет вышитый, другому рисуночек какой-нибудь, записную книжку, блокнот, флажок с серпом и молоточком…

А ко мне подбегает на быстрых ножках маленькая белобрысенькая девчоночка, краснеет как маков цвет, испуганно смотрит на мою грандиозную фигуру и говорит:

«Поздравляю вас, дяденька военный. Вот вам, – говорит, – от меня подарочек».

И протягивает ручку, а в ручонке у нее маленький беленький пакетик, перевязанный зеленой шерстяной ниткой.

Я хотел взять подарок, а она еще больше покраснела и говорит:

«Только вы знаете что? Вы этот пакетик, пожалуйста, сейчас не развязывайте. А вы его, знаете, когда развяжите?»

Я говорю:

«Когда?»

«А тогда, когда вы Берлин возьмете».

Видали?! Время-то, я говорю, сорок четвертый год, самое начало его, немцы еще в Детском Селе и под Пулковом сидят, на улицах шрапнельные снаряды падают, в детдоме у них накануне как раз кухарку осколком ранило… А уж девица эта, видите ли, о Берлине думает. И ведь уверена была, пигалица, ни одной минуты не сомневалась, что рано или поздно наши в Берлине будут. Как же тут было, в самом деле, не расстараться и не взять этот проклятый Берлин?!

Я ее тогда на колено посадил, поцеловал и говорю:

«Хорошо, дочка. Обещаю тебе, что и в Берлине побываю, и фашистов разобью, и что раньше этого часа подарка твоего не открою».

И что вы думаете – ведь сдержал свое слово.

– Неужели и в Берлине побывали?

– И в Берлине, представьте, привелось побывать. А главное ведь, что я действительно до самого Берлина не открыл этого пакетика. Полтора года с собой его носил. Тонул вместе с ним. В танке два раза горел. В госпиталях лежал. Три или четыре гимнастерки сменил за это время. А пакетик все со мной

– неприкосновенный. Конечно, иногда любопытно было посмотреть, что там лежит. Но ничего не поделаешь, слово дал, а солдатское слово – крепкое.

Ну, долго ли, коротко ли, а вот наконец мы и в Берлине. Отвоевали. Сломали последний вражеский рубеж. Ворвались в город. Идем по улицам.

Я – впереди, на головном танке иду.

И вот, помню, стоит у ворот, у разбитого дома, немка. Молоденькая еще. Худенькая. Бледная. Держит за руку девочку.

Обстановка в Берлине, прямо скажу, не для детского возраста. Вокруг пожары, кое-где еще снаряды ложатся, пулеметы стучат. А девчонка, представьте, стоит, смотрит во все глаза, улыбается… Как же! Ей небось интересно: чужие дяди на машинах едут, новые, незнакомые песни поют…

И вот уж не знаю чем, а напомнила мне вдруг эта маленькая белобрысая немочка мою ленинградскую детдомовскую приятельницу.

И я о пакетике вспомнил.

«Ну, думаю, теперь можно. Задание выполнил. Фашистов разбил. Берлин взял. Имею полное право посмотреть, что там…»

Лезу в карман, в гимнастерку, вытаскиваю пакет. Конечно, уж от его былого великолепия и следов не осталось. Весь он смялся, изодрался, прокоптел, порохом пропах…

Развертываю пакетик, а там… Да там, откровенно говоря, ничего особенного и нет. Лежит там просто платочек. Обыкновенный носовой платочек с красной и зеленой каемочкой. Гарусом, что ли, обвязан. Или еще чем-нибудь. Я не знаю, не специалист в этих делах. Одним словом, вот этот самый дамский, как вы его обозвали, платочек.

И полковник еще раз вытащил из кармана и разгладил на колене свой маленький, подрубленный в красную и зеленую елочку платок.

На этот раз я совсем другими глазами смотрел на него.

Ведь и в самом деле, это был платочек непростой.

Я даже пальцем его осторожно потрогал.

– Да, – продолжал, улыбаясь, полковник. – Вот эта самая тряпочка лежала, завернутая в тетрадочную клетчатую бумагу. И к ней булавкой пришпилена записка. А на записке огромными корявыми буквами с невероятными ошибками нацарапано:

«С Новым годом, дорогой дяденька боец! С новым счастьем! Дарю тебе на память платочек. Когда будешь в Берлине, помаши мне им, пожалуйста. А я, когда узнаю, что наши Берлин взяли, тоже выгляжу в окошечко и вам ручкой помашу. Этот платочек мне мама подарила, когда живая была. Я в него только один раз сморкалась, но вы не стесняйтесь, я его выстирала. Желаю тебе здоровья! Ура!!! Вперед! На Берлин! Лида Гаврилова».

Ну вот… Скрывать не буду – заплакал я. С детства не плакал, понятия не имел, что за штука такая слезы, жену и дочку за годы войны потерял, и то слез не было, а тут – на тебе, пожалуйста! – победитель, в поверженную столицу врага въезжаю, а слезы окаянные так по щекам и бегут. Нервы это, конечно… Все-таки ведь победа сама в руки не далась. Пришлось поработать, прежде чем наши танки по берлинским улочкам и переулочкам прогромыхали…

Через два часа я у рейхстага был. Наши люди уже водрузили к этому времени над его развалинами красное советское знамя.

Конечно, и я поднялся на крышу.

Вид оттуда, надо сказать, страшноватый. Повсюду огонь, дым, еще стрельба кое-где идет. А у людей лица счастливые, праздничные, люди обнимаются, целуются…

И тут, на крыше рейхстага, я вспомнил Лидочкин наказ.

«Нет, думаю, как хочешь, а обязательно надо это сделать, если она просила».

Спрашиваю у какого-то молоденького офицера:

– Послушай, – говорю, – лейтенант, где тут у нас восток будет?

– А кто его, – говорит, – знает. Тут правую руку от левой не отличишь, а не то что…

На счастье, у кого-то из наших часы оказались с компасом. Он мне показал, где восток. И я повернулся в эту сторону и несколько раз помахал туда белым платочком. И представилось мне, вы знаете, что далеко-далеко от Берлина, на берегу Невы, стоит сейчас маленькая девочка Лида и тоже машет мне своей худенькой ручкой и тоже радуется нашей великой победе и отвоеванному нами миру…

Полковник расправил на колене платок, улыбнулся и сказал:

– Вот. А вы говорите – дамский. Нет, это вы напрасно. Платочек этот очень дорог моему солдатскому сердцу. Вот поэтому я его с собою и таскаю, как талисман…

Я чистосердечно извинился перед своим спутником и спросил, не знает ли он, где теперь эта девочка Лида и что с нею.

– Лида-то, вы говорите, где сейчас? Да. Знаю немножко. Живет в городе Казани. На Кировской улице. Учится в восьмом классе. Отличница. Комсомолка. В настоящее время, надо надеяться, ждет своего отца.

– Как! Разве у нее отец нашелся?

– Да. Нашелся какой-то…

– Что значит «какой-то»? Позвольте, где же он сейчас?

– Да вот – сидит перед вами. Удивляетесь? Ничего удивительного нет. Летом сорок пятого года я удочерил Лиду. И нисколько, вы знаете, не раскаиваюсь. Дочка у меня славная…

**Леонид ПАНТЕЛЕЕВ**

**Сто почтовых марок**

Когда мы с Васей были маленькие, мы были, как теперь говорят, трудные дети. Попросту говоря, мы были порядочными хулиганами. И у нас не уживалась долго ни одна нянька. Теперь я не удивляюсь этому. Стыдно признаться, но был случай, когда одну неполюбившуюся нам няньку мы с Васей пробовали поджечь. Да, самым настоящим образом. Спрятались за папиным книжным шкафом, дождались, когда эта женщина пойдет мимо, плеснули ей на подол керосина и бросили зажженную спичку. Запылавшую юбку удалось потушить, но нянька в тот же день попросила у нашей мамы расчет.

Хулиганили мы, как я теперь понимаю, от безделья. И главным образом тогда, когда нашего папы не было дома, когда он уезжал куда-нибудь по своим лесоторговым делам. А бездельничали мы потому, что не знали, куда девать силы. Я еще не научился как следует читать, кое-как читал только вывески над магазинами. А Васе — тому, вероятно, было всего два-три года.

Няньки у нас менялись, как полотенца на кухне. А может быть, и чаще.

И вдруг в один зимний, кажется, день у нас появилась очень умная, я бы даже сказал гениальная нянька, или бонна, как называли себя тогда для важности некоторые интеллигентные няни.

В первый же день, а может быть, в первый час пребывания в нашем доме этой особе удалось нас укротить. Что же она сделала? Она сказала:

— Известно ли вам, дети, что мальчику или девочке, которые соберут сто почтовых марок и пошлют их в Китай, оттуда вместо марок пришлют живого китайчонка или фарфоровый чайный сервиз?

Конечно, у нас глаза у обоих загорелись. Еще бы! Живой китайчонок! Или фарфоровый сервиз!

— А где их столько взять, эти сто марок? — спросил я у бонны.

— Я думаю, в вашем доме, как и во всяком другом, имеются альбомы для почтовых карточек…

Да, такие альбомы у нас, конечно, имелись. Не один, не два, а несколько. Они лежали в так называемом художественном беспорядке на круглом столике в гостиной. Были они большей частью плюшевые, с металлическими уголками и с металлическими застежками.

И вот мы с головой погрузились в это выгодное и увлекательное занятие — стали собирать по сто марок.

Никто нами не руководил, никто не наблюдал за нами. Круглый столик покрыли старыми газетами, поставили на стол блюдечко с водой и сказали:

— Работайте.

И мы с утра до вечера, день за днем сидели и трудились.

Совсем не помню я эту мудрую бонну, даже имени ее не запомнил, но круглый столик под бархатной темно-лиловой скатертью, альбом, открытки, марки — все это, как сейчас, перед моими глазами.

Открытки в альбомах мы и раньше разглядывали. Но это было не так уж интересно. На открытках были изображены главным образом дома, улицы, церкви или целые города, на других — цветы, больше всего почему-то желтые и красные розы. Чуть-чуть интереснее других были поздравительные — пасхальные и рождественские — открытки. Например: из большого раскоканного яйца, на котором золотом написано X.В. (то есть Христос воскресе), вылезают и целуются господин в цилиндре и дама в широкополой шляпе с перьями. Была и другая пасхальная открытка, еще интереснее. Она была очень толстая, пухлая. На ней — тоже в расколотом яйце — сидел большой, ярко-желтый, мягенький на ощупь цыпленок. Когда на цыпленка нажимали, он по-настоящему пищал. Но вероятно, мы с Васей так часто нажимали на этого несчастного цыпленка, что пищать он уже давно разучился.

Впрочем, теперь нас интересовала другая, оборотная сторона открыток — та, где были наклеены марки, где было что-то написано и где я с грехом пополам мог прочесть хотя бы адрес: «С.-Петербургъ. Набережная ръки Фонтанки, д. № 140, кв. № 1. Его Высокоблагородiю Ивану Афанасьевичу Еремъеву». Или: «Александръ Васильевнъ M-lle Спъхиной».

Марки были всякие. Разноцветные. Пестрые. Тусклые. Большие. Маленькие. Вертикальные. Горизонтальные. Были такие, где я ничего не мог прочесть. Буквы были знакомые, похожие на те, что я уже знал, а понять, что там написано, было невозможно. На этих марках изображены были женские и мужские профили. У некоторых на голове красовалась корона. Нетрудно было понять, что это короли и королевы. Попадались и другие женщины — не с коронами, а в шапочках, похожих на пожарную каску, с гребнем вроде петушиного, только каски эти были не золотые, а красные. На двух или трех марках нарисованы были горбоносые мужчины с бакенбардами, на одной — статуя женщины с высоко поднятым факелом…

Но особенно пристально рассматривать открытки и марки у нас не было сейчас времени. Нам нужно было отклеивать эти марки. Некоторые из них отклеивались совсем легко. Чуть-чуть смочишь ее или подышишь на нее — и она как новенькая, не смятая, не покореженная, ложится тебе на ладошку. Другие вода не брала. На такую марку нужно было без конца дышать:

Хы! Хы! Хы!

Вот чуть-чуть отстал, отклеился самый уголок марки. Ногтем слегка отгибаешь этот зубчатый краешек и лихорадочно продолжаешь дышать дальше:

Хы! Хы! Хы! Хы!

Еще немножко отклеилось. Тут уж не жалеешь легких, не жалеешь дыхания:

Хы! Хы! Хы! Хы! Хы!..

А рядом — Вася: уткнулся носом в свою открытку и тоже:

Фы! Фы! Фы!

Особенно трудно отклеивались наши русские марки. А их в альбоме было, к нашему несчастью, больше всего. Эти маленькие, напечатанные на очень тонкой бумаге марки с изображением двуглавого орла и короны над ним были смазаны еще, как назло, каким-то особенно крепким клеем. Дышишь на эту марку, смачиваешь ее, даже окунешь краешек открытки в блюдечко с водой — хоть бы что! Опять начинаешь дышать. Опять мочишь. И вот наконец уголок чуть-чуть отстает, отклеивается. Но тут же он, этот уголок, начинает свертываться в трубочку. Осторожно берешь его кончиками пальцев, пытаешься немножко потянуть, разгладить — и чувствуешь, как мокрая, раскисшая бумага расползается, рвется. А такую размокшую марку надо уже выбрасывать. Как нам объяснили, рваных или запачканных чем-нибудь марок в Китае не принимают.

Когда работа у нас идет, марки отклеиваются, не рвутся, мы с Васей разговариваем. О чем? Конечно, только об этом:

— Ты что попросишь прислать — китайчонка или сервиз?

— А ты? — спрашивает Вася. У него, как я понимаю, вообще никакого своего мнения по этому вопросу еще нет и быть не может. Но и мне решить этот вопрос не так-то легко. Сервиз или китайчонок? И то и другое соблазнительно, заманчиво, так заманчиво, что голова кружится.

— Я — сервиз, — говорит Вася.

— А я… я, пожалуй, тоже сервиз. Нет, я китайчонка… Нет, все-таки, пожалуй, сервиз.

Эти мучительные колебания, это пылание страстей не кончается тут, в гостиной, за круглым столиком. Самые страшные муки и главная прелесть этих мучений, этих раздумий, сомнений, колебаний — в детской, когда нас уложат спать, когда задуют лампу, и только свет лампадки и свет уличного фонаря за окном чуть-чуть озаряют нашу комнату. Лежишь, укрывшись по самый нос теплым стеганым одеялом, и думаешь:

«Нет, китайчонка… китайчонка… Конечно, китайчонка. Или все-таки сервиз?»

На кой он мне, простите, ляд был этот фарфоровый сервиз или тем более китайчонок? Что бы я с ним стал делать, с живым китайчонком! И все-таки ведь мечтал — горячо, упоенно, страстно мечтал. Мечтаем же мы в детстве о живом медвежонке, тигренке или хотя бы котенке. А разве думаем при этом, что мы будем с ними делать — с тигрятами и медвежатами? Не думаем. Вся прелесть уже в этом — в словах: живой. Медвежонок. Китайчонок. Слоненок.

Каким я представлял себе его, моего китайчонка? Не помню. Знаю только, что он, этот обещанный мне китайчонок, никак не связывался в моем представлении с теми китайцами, о которых рассказывал отец, будто они работают на строительстве железной дороги в Маньчжурии с утра до ночи за тридцать копеек в день и за чашечку риса.

Видел ли я вообще когда-нибудь живых китайцев? Видел, и довольно часто. В Петербурге их в те годы было много. Занимались эти китайцы главным образом торговлей вразнос. А торговали чаще всего мануфактурой, китайскими тканями. Зимой в синих до пят халатах, летом в синих кофтах и синих шароварах, в круглых шапочках-мисочках, из-под которых падали на спину черные, угольно-блестящие косы, они ходили вслед за другими бродячими торговцами по петербургским дворам и кричали:

— Сёлика, сёлика, саляпинка!..

Это значило:

— Шелк, шелк, сарпинка!

Сарпинку, шелк, чесучу и другие ткани китайцы носили в каких-то угловатых, квадратных, очень плотно и аккуратно спеленатых тючках, висевших у них за левым плечом. В правой же руке они держали всегда наготове, как ружье, деревянный аршин.

В летнее время эти бродячие китайцы торговали не только в Петербурге, но и в его дачных окрестностях. Один такой китаец запомнился мне навсегда.

Солнечный июньский день. Дача нашей бабушки в Старом Петергофе. Мы, ребятишки, сидим на ступеньках веранды, окружив нашу молоденькую тетушку, тетю Лелю. Все вокруг белое. И тетя Леля в чем-то белом, теннисном. И дача белая. И башня на ней. И каретный сарай. И конюшня. И высокий забор на другом конце двора, и ворота, и калитка…

Тетя Леля что-то рассказывает нам. Но вот брякнула щеколда, скрипнула калитка, и во дворе, согнувшись немного направо, с тючком за левым плечом, появляется молодой китаец в синем.

— Сёлика, чесуча, саляпинка не надо? — спрашивает он, останавливаясь у калитки.

— Нет, нет, голубчик, не надо, — говорит ему тетя Леля.

Китаец, чуть-чуть помедлив, поглядев, подумав, уходит, деликатно прикрывает за собой калитку. Проходит полминуты, может быть, минута. Мы уже успеваем забыть об этом китайце. Вдруг опять бренчит щеколда, опять скрипит калитка, и во двор заглядывает тот же согнутый в правую сторону китаец.

— Совсем не надо? — спрашивает он.

Конечно, это вызывает хохот. Наверно, и я смеялся вместе со всеми. Но внутри у меня что-то и защемило. И когда я вспоминаю этого вернувшегося китайца теперь — тоже щемит. А может быть, только теперь и щемит, когда за спиной у меня большая жизнь и когда мне нетрудно представить себя в шкуре этого человека.

— Не надо? — спрашивает он.

Ему говорят:

— Не надо.

И он уходит.

Но тут же начинает бранить, казнить себя. «Недотепа! Торговать не умеешь. Все утро ходишь и ни одного куска чесучи не продал! Сказали тебе „нет“ — и сразу уходишь. Тебя же учили: надо уметь уговаривать покупателя…» И вот он заставляет себя вернуться, берется за железную ручку, открывает калитку и спрашивает:

— Совсем не надо?

Приходилось мне видеть китайцев и на Покровском рынке. В рыночной бесцветной толпе они выделялись не только синими одеждами и смоляными косами, но и своим товаром: нежно-голубыми, нежно-розовыми и нежно-желтыми бумажными, чем-то похожими на старинные жабо складными веерами, такими же бумажными складными фонариками, птицами, рыбами, драконами…

Были в городе китайские прачечные. Считалось, что самые лучшие прачки на свете — китайцы.

Но конечно, не этих китайцев, не прачек и не продавцов сарпинки и чесучи, я вспоминал, когда, засыпая, предавался мечтам о своем живом китайчонке.

Мой китайчонок (как и мой сервиз) был откуда-то из сказки о соловье, которую мне рассказал однажды во время моей болезни приказчик Балдин, а может быть — с огромных белых ваз, украшавших витрины чайного магазина «Сиу и компания» на Невском. На этих фарфоровых вазах-исполинах маленькие черно-красные фигурки китайцев стояли под зонтиками, низко кланялись, сидели, сложив по-турецки ноги… А скорее всего этот уютный, милый, забавный и уже нежно любимый мною китайчонок пришел ниоткуда, родился в душе и в голове моей.

И вот опять ночь. Все в доме спят. Темно. Помигивает лампадка перед старинным черным киотом. По серому ночному потолку бегут белые бледные блики — то ли карета проехала на той стороне Фонтанки, то ли луна пробирается сквозь волнистые туманы, то ли ветер раскачивает где-то у Египетских бань газовый фонарь.

А ты свернулся калачиком и все об одном: «Сервиз или китайчонок?»

И так, пока сон не смежит очи.

А утром, наспех умывшись, помолившись богу, проглотив положенную чашку ячменного кофе и теплый рогалик с соленым чухонским маслом, мы уже сидим в гостиной, на своих местах и трудимся:

Хы! Хы! Хы!

Отклеенные марки у нас отбирают, складывают в какие-то коробочки. Всякий раз мы спрашиваем:

— Много еще надо?

— Да, да, — отвечают нам. — Еще много.

Может быть, нас и обманывали. Не знаю. Мечтать я умел, а считать еще не научился. Вздохнув, мы продолжаем прерванный накануне разговор.

— Ну, что же ты решил? — спрашиваю я у Васи. — Сервиз или китайчонка?

— А ты?

— Я… я, пожалуй, китайчонка…

Но как же я представлял себе появление этого китайчонка? Смутно представлял. Сервиз — понятно: приносят или привозят довольно большой ящик. Открываем его, а там, как яблоки или зимние мандарины, в тонюсенькой рисовой бумаге — чашечки, блюдечки, молочники, полоскательницы…

Может быть, об этих полоскательницах я и не думал. Скорее всего не думал. Мерещилось что-то праздничное — как елка, как пасхальный стол с гиацинтами и крашеными яйцами.

Сколько это продолжалось, сколько марок мы успели собрать, сколько их испортили и выбросили — не знаю. Может быть, сто марок мы и в самом деле собрали. Хорошо знаю только одно, что, пока мы с Васей собирали марки, я выучился читать.

Ясно помню яркий зимний день. Я почему-то не в детской и не в гостиной, а в спальне. Кажется, Вася болен, у него свинка, почему меня и переселили на время в мамину комнату. Мама сидит у окна, что-то шьет, а я примостился у ног ее на низеньком розовом пуфике и читаю. Читаю не вслух, а про себя. Помню даже, что я тогда читал: тоненькую сытинского издания книжку с аляповатым, очень ярким и очень страшным рисунком на обложке. Даже название книги осталось в памяти: «Али-баба и сорок разбойников».

Где-то далеко, на кухне, брякает звонок. Я слышу этот звонок, но никакого внимания на него не обращаю. Кто может прийти сейчас, утром, на кухню, с черного хода? Дворник. Или мальчик из мелочной лавки. Или чухонка-молочница со своими бидонами.

Но вот раздается какой-то свистящий шум, грохот. Хлопает одна дверь. Потом — другая. Стучат деревенские башмаки на железных подковках. И на всю квартиру — ликующий (как мне кажется), а может быть, и испуганный голос кухарки Даши:

— Александра Васильевна! Барыня! Китайчонок пришел!

Сердце у меня застучало, остановилось, опять застучало. Помню, что, вскочив, я уронил пуфик. И помню мысль, озарившую меня: «Уже? Пришел? Китайчонок!!!»

И вот я застрял в дверях кухни. А на другом ее конце, у входных дверей, у черного хода, стоит мальчик гораздо старше меня, лет десяти-одиннадцати. Мальчик этот — китаец. Он в синей помятой кофте, в синих штанах.

Но что он делает? Он подкидывает и ловит ножи. Большие кухонные ножи, какими обычно режут лук или разделывают мясо. Сколько их, этих ножей? Может быть, три, а может быть, и четыре. Сразу не сосчитаешь — так быстро мелькают они в воздухе и в руках китайчонка. Он устремил свои раскосые глаза в потолок и кидает, и ловит, и опять кидает, и снова ловит, ловит, ловит — острые, синевато сверкающие ножи.

Вместе с мамой я подхожу ближе. Какой он худой, желтовато-серый, этот мальчик! Какой грязный, рваный. Жонглируя своими четырьмя ножами, он все время косит свои и без того раскосые глаза в сторону подоконника. Что он там увидел, на подоконнике? А там на фаянсовом блюде или на большой тарелке лежат холодные вчерашние котлеты.

Продолжая жонглировать, китайчонок делает шаг вперед, полшага в сторону, потом, быстро поймав один за другим все свои ножи, засовывает их за пояс, протягивает к окну свою грязную-прегрязную руку, хватает чумазыми, почти черными пальцами противную на вид серую котлету и всю целиком запихивает ее себе в рот.

— Ты что? — кидается к нему Даша. — Пакостник ты! Фулиган! Ходя!

Он вытаращил глаза, съежился, даже присел немножко, с трудом проглотил котлету и сказал так жалобно и таким тоненьким голосом, что у меня сердце защемило:

— Кусяти хосете осеня.

— Кусяти, кусяти, — передразнила его кухарка.

— Не надо, не сердитесь на него, Даша, — мягко сказала мама.

Она велела кухарке завернуть в пергаментную бумагу оставшиеся котлеты, положить туда побольше хлеба и еще какой-то провизии, а сама сходила в спальню и принесла китайчонку серебряный рубль. Он почему-то ужасно испугался, схватил монету, сунул ее себе в рот, за щеку (да, да, в рот и за щеку), потом быстро вытер рукавом сальные губы и, не сказав ни «спасибо», ни «до свиданья», повернулся и ринулся на лестницу.

Все дни, пока был болен Вася, я ночевал в родительской спальне. И в этот вечер, устроившись поуютнее на большой папиной кровати, под большим одеялом, натянув это одеяло себе на нос, я собирался, как обычно, перед сном помечтать — о посылке из Китая, о фарфоровых чашечках, о живом китайчонке. Закрыл глаза и вдруг увидел перед собой серые скрюченные пальцы, тянущиеся к белому с голубой каемкой блюду. Увидел в этих грязных пальцах такую же серую, длинную котлету и вдруг на всю квартиру заплакал.

Прибежала мама.

— Лешенька, милый, детка, что с тобой? О чем ты?

Уткнувшись лицом в папину подушку, я плакал и не мог остановить слез. Я так плакал, что начал икать.

Присев рядом, мама обнимала меня, целовала, гладила мою стриженую голову.

— О чем ты? О чем? — без конца спрашивала она.

Что мог я ответить ей, когда и сейчас, очень много лет спустя, я не знаю, о чем я тогда плакал.

…На этом все и кончилось.

Не было больше ни альбомов, ни марок, ни фарфоровых чашек, ни живых китайчат. А заодно куда-то исчезла вскоре и наша премудрая воспитательница.

**Леонид ПАНТЕЛЕЕВ**

**Маленький офицер**

Шел первый год войны — той, что теперь в учебниках истории называют первой мировой. Но тогда еще не знали, что будет вторая, поэтому для нас это была просто война с немцами, или с тевтонами, как их часто ругали в газетах.

В те дни я, как и все, кто меня окружал, был настроен весьма воинственно, гордился, что папа мой — в Галиции, на передовых. По утрам, открывая «Петроградскую газету» (еще совсем недавно она называлась «Петербургской газетой»), прежде чем обратиться к сообщениям штаба верховного главнокомандующего с Западного и Кавказского фронтов, я очень бегло и неохотно пробегал глазами список убитых офицеров и более внимательно проглядывал списки раненых. Не признаваясь в этом даже самому себе, я искал и, пожалуй, не прочь был бы увидеть в длинном газетном списке фамилию некоего Еремеева И.А., поручика. Нет, избави боже, я не хотел, чтобы отцу оторвало руку или ногу, не хотел, чтобы он приехал домой калекой, но какое-нибудь легкое ранение в плечо или, скажем, в верхнюю часть бедра — это, говоря по правде, меня устраивало. Во-первых, это значило бы, что отец вернется домой, а во-вторых, вернулся бы он не просто офицером, а офицером-героем.

Раненых в то время в городе было еще не так много, они всюду обращали на себя внимание; в трамваях мальчики, в том числе и я, при появлении раненого офицера вскакивали, спешили уступить место. Восхищенными и даже завистливыми глазами провожали мы этих людей на костылях или с черными эбонитовыми палками, или с рукой, согнутой под острым углом и засунутой, как в муфту, в черную креповую повязку, перекинутую через плечо.

Конечно, завидовали мы не только раненым. Возвращаясь после уроков из училища, я часами простаивал на широком Троицком проспекте, где в те дни восхитительно пахло мокрым шинельным сукном, сапогами, махоркой, где с утра до ночи занимались солдаты-новобранцы: маршировали, пели про канареечку-пташечку, бегали, кричали «ура», ползали на животах по булыжной мостовой, щелкали затворами, прокалывали штыками соломенные чучела, рассчитывались «на первый-второй», снова бегали, снова шагали и снова с присвистом пели про канареечку-пташечку, которая жалобно поет…

Дома, кое-как пообедав, наскоро приготовив уроки, я опять обращался к военным делам. Хотелось, конечно, поиграть в войну, но играть было не с кем. Вася был маленький, он мог только бегать и кричать «ура», а Ляля — та только-только начинала лепетать, она, я думаю, даже понятия не имела, что такое война.

Приходилось играть в солдатики, которых я сам и мастерил. Уже второй год мама выписывала для меня детский журнал «Задушевное слово», и каждую пятницу почтальон приносил мне вместе с тоненькой тетрадкой журнала солидный пакет «бесплатных приложений». В этом году я получил, среди прочего, очень много листов для вырезывания. На этих еще слегка липких, еще пахнущих литографской краской листах были изображены солдаты и офицеры всех родов войск: пехота, артиллерия, казаки, уланы, самокатчики, мотоциклетисты… На отдельных листах были отпечатаны зеленовато-серые пушки, полковые кухни, санитарные повозки, а также разрывы снарядов, похожие на букеты завядших цветов или, еще больше, на черные, в красных пятнах веники. Все это, будучи вырезанным и склеенным, можно было расставлять на полу или на столе, можно было устраивать целые сражения. Тем более что в бесплатных приложениях были представлены не только русские, но и наши противники — немцы и австрийцы. Правда, эти противники главным образом убегали, показывая спины с зелеными ранцами, или сдавались в плен, поднимая раскинутые в стороны руки.

Вырезывание и склеивание было занятием нелегким. Чтобы изготовить десяток таких солдат или офицеров, требовалось час-полтора времени. Гораздо легче было солдатиков рисовать, особенно тем способом, каким это делал я: две палочки — ноги, палочка — туловище, еще две палочки — руки, что-то вроде кочерги или цифры 4 — винтовка с примкнутым штыком, коротенькая горизонтальная палочка — голова вместе с фуражкой, и вот солдат уже готов, вооружен, обмундирован и может хоть сейчас идти в бой. Такие фигурки выходили из-под моего пера тысячами. Ими, как муравьями, были усеяны страницы всех моих учебников и тетрадей, поля газет и даже белая доска моей маленькой домашней парты.

Конечно, я не только играл. Я читал газеты, следил за ходом военных действий, крохотными бело-сине-красными бумажными флажками отмечал на карте продвижение наших войск и черно-красно-желтыми флажками — передвижения неприятеля. В «Петроградской газете», а также в журналах «Нива», «Лукоморье», «Всемирная панорама» я читал о подвигах русских чудо-богатырей, среди которых на первом месте стояли, конечно, совершенно невероятные подвиги донского казака Кузьмы Крючкова — того самого, что в одиночку захватил в плен одиннадцать тевтонов. Но самое сильное волнение вызывали в моей душе рассказы о героях малолетних, о юных разведчиках. В каком-то журнале я видел фотографию мальчика моего возраста. Этот «сирота Ваня» был снят в высоких солдатских сапогах, в барашковой шапке с кокардой и в гимнастерке с погонами. На груди у него висела большая круглая медаль. Отличился этот сирота тем, что «подносил патроны».

Правда, гораздо чаще в глаза мне попадали сообщения, вроде следующего:

«Линейные жандармы Н-ской железной дороги сняли с крыши товарного вагона ученика IV класса Пензенского реального училища А.Голубева, державшего направление в сторону фронта. Юный патриот водворен в родительский дом».

Или:

«В городе Т., в прифронтовой полосе, задержаны два гимназиста Суров и Лентовский. Мальчики, по их словам, пробирались на передовые позиции, чтобы стать юными разведчиками».

Но даже и эти незадачливые гимназисты и реалисты вызывали во мне жгучую зависть. Еще бы — ведь их, этих снятых с вагонной крыши неудачников, в «Петроградской газете» именовали юными патриотами! Не один раз мелькали и в моей голове мысли о побеге на фронт. Но до поры, до времени мне казалось, что мечтам моим никогда не осуществиться. Нет, я не считал себя отпетым трусом. Пойти в разведку, поднести патроны — на это у меня храбрости, пожалуй, хватило бы. Боялся я не пуль и не австрийских или немецких штыков. Пугало меня другое. Я был застенчив. И при этом еще ужаснейшим образом картавил. Для меня пыткой было зайти по маминой просьбе в аптеку или в булочную. А тут не аптека и не булочная, тут — фронт! Я холодел от одной мысли, что, прежде чем туда попадешь, надо к кому-то обращаться, надо выспрашивать у прохожих или у носильщиков на вокзале, где, в какой стороне этот фронт находится.

Но вот один маленький случай, одна мимолетная встреча в Гостином Дворе все решила. Сомнения мои были побеждены.

Однажды после обеда мама поехала за какими-то покупками, кажется, за шелковой узенькой лентой для модной тогда вышивки «ришелье», и взяла меня с собой. Возвращаясь, мы шли по Садовой в сторону Сенной и, подходя к Банковской линии, увидели под аркадой Гостиного Двора какое-то оживление, какое-то копошение людей. В этой говорливой толпе преобладали женщины, дамы. Слышались возбужденные голоса, кто-то всхлипывал.

Забыв о своих хороших манерах, я с ходу и довольно ловко втиснулся в эту благоухающую и шуршащую шелками толпу. Втиснулся и застыл очарованный.

Даже сейчас, столько лет спустя ясно вижу эту картину.

У ворот, ведущих внутрь Гостиного, прижавшись спиной к белой стене, опустив голову, повиснув на двух костылях, стоит очень красивый бледнолицый, с черным, шелковистым, упавшим на мраморный лоб чубом мальчик лет четырнадцати-пятнадцати. На мальчике — мягкого светло-серого сукна офицерская шинель с золотыми пуговицами и с красными отворотами, на плечах — золотые погоны, на каждом — по две звездочки. И самое удивительное, даже уже почти волшебное: на груди у мальчика повис и слегка покачивается — офицерский Георгиевский крест на черно-оранжевой георгиевской ленточке.

Чувствуя себя пигмеем, ничтожеством в своих коротеньких штанишках и в синей матросской курточке, я стоял полуоткрыв рот и не сразу заметил, что у ног мальчика, на каменном полу галереи лежит козырьком кверху ладная офицерская фуражечка с красным околышем. Фуражка была до краев наполнена деньгами. Там блестело серебро, желтели бумажные рубли, зеленели трешки. Мне показалось даже, что в этом ворохе бумажных денег мелькнул уголок «красненькой», десятирублевки. И тоже не сразу обратил я внимание на пожилую женщину в трауре, стоявшую на том же углу в двух шагах от маленького офицера. Прижимая к глазам комочек платка, женщина плакала и сквозь слезы что-то рассказывала окружавшим ее дамам.

— Это мать… мать, — восторженным шепотом объяснила моей маме высокая дама в пенсне. — Мать юного героя!

А в фуражку все падали и падали деньги. Мама моя тоже открыла портмоне и высыпала из него все, что там было, — всю мелочь.

— Мерси, — глухо и чуть-чуть в нос сказал мальчик, тряхнув смоляным чубом.

Кто-то за моей спиной спросил у него:

— Господин подпоручик, простите, а за что вас наградили Георгиевским крестом?

— За героический подвиг, мадам, — так же глухо ответил он.

— Сколько же вам лет? — спросил кто-то другой.

— На Ильин день исполнится четырнадцать.

— А где вас ранило? На каком фронте?

— В Галиции. Под городом Лимберг.

Сердце в груди у меня затрепетало. Подумать только: в Галиции! Там, где мой папа! Мне хотелось спросить у мальчика: а как же, каким образом ему удалось попасть в Галицию? Где ему выдали шинель, фуражку?.. Но разве мог я задать хоть один вопрос этому великолепному, бледному, как Печорин, подпоручику и георгиевскому кавалеру?!

Вечером после этой встречи в Гостином Дворе я долго не мог заснуть. Было твердо и окончательно решено: я бегу на фронт!

К побегу следовало готовиться. Я знал, что прежде всего в этих случаях начинают сушить сухари. Но, увы, я был такой тёпа, такой маменькин сынок, что понятия не имел, как это делается. Я знал, что ванильные сухари покупают в булочной Венцеля на Лермонтовском или в кондитерской Иванова у Мариинского театра. Но ведь не с такими же сухарями люди бегут на фронт!.. Сухари надо сушить самому. И вот я стал потихоньку выносить из столовой, а случалось, и из кухни, куски черного хлеба, ситного или французской булки. Эти ломти и горбушки я складывал украдкой в ящик своей маленькой белой парты, стоявшей у первого из трех окон детской. Однако очень скоро выяснилось, что черный хлеб таким образом сушиться почему-то не хочет. Дня через три, выдвинув ящик парты, я отпрянул и сморщил нос: из ящика пахнуло чем-то очень нехорошим. Темно-коричневые ржавые ломтики были покрыты бирюзовым налетом плесени.

Зато белый хлеб засыхал отлично. Горбушка франзолика съеживалась, на ней появлялись трещины, она делалась твердой, как грецкий орех, я с хрустом грыз ее, и уже в одном этом хрусте было что-то мужественное, фронтовое, солдатское.

Не помню, сколько мне удалось заготовить таким способом сухарей. Кажется, довольно много: фунта, может быть, два или три. Но ведь, чтобы пуститься в путь, одних сухарей было недостаточно. Начитанный мальчик, я знал, что беглецы и путешественники берут с собой обычно кроме сухарей и воды соль, спички (а еще лучше кремень и огниво), хорошо отточенный нож, компас и географическую карту. Перочинный ножик, правда, не особенно острый, у меня имелся. Раздобыть соль и спички большого труда не представляло. Географическую карту Российской империи, после некоторых колебаний и небольшой сделки с совестью, я решил выдрать из энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона. А вот где мне достать компас, я не имел понятия и даже не знал, в каких магазинах ими торгуют.

Но тут случилось еще одно событие, исключительно радостное: приехал на побывку мой папа! Если не ошибаюсь, это был первый его приезд в Петроград с начала войны. Для меня эти три или четыре дня оказались днями блаженства. Нет, не было ни поцелуев, ни каких-нибудь особенно ласковых слов, ни особенно задушевных разговоров. Но уже одно то, что отец находился дома, что в квартире опять пахло его папиросами «Яка», его вежеталем, его фронтовой шинелью, его сапогами, кобурой, портупеей, что по утрам я слышал за дверью столовой его глуховатый голос и особенное, его, отцовское позвякиванье ложечкой в чайном стакане, — уже одно это переполняло меня радостью.

Никогда не забуду солнечный мартовский, а может быть, уже и апрельский день, так хорошо, так прекрасно начавшийся и так ужасно кончившийся. Возвращаясь из гостей, кажется от бабушки, мы шли вдвоем с отцом сначала по набережной Фонтанки, а потом по теневой, южной, стороне Невского — в сторону Городской думы. Слышу и сейчас, как нежно и вместе с тем мужественно позвякивают его шпоры. Мне кажется, что все, кто идет нам навстречу, смотрят на него, оглядываются, любуются им: какой он красивый, мой отец, какой высокий, статный!.. Но главное ждет меня впереди. Мы проходим мимо Аничкова дворца, и вдруг солдат, застывший на часах у дворцовых ворот, щелкает каблуками, еще больше вытягивается, вскидывает ружье и «берет на караул». Перед кем? Перед моим папой! Гордость буквально ошпарила меня. Больше всего меня восхищает, как легко, спокойно, просто и вместе с тем четко и уважительно козырнул отец, отвечая на приветствие лейбгвардейца.

После этого молчать больше я не мог. Меня распирало желание хоть как-нибудь, хоть намеком, хоть полунамеком поделиться с отцом моими патриотическими настроениями и распиравшими меня тайными замыслами. Стараясь не отставать от него и идти с ним в ногу, я стал сбивчиво рассказывать, что вот, мол, недавно мы с мамой были в Гостином Дворе, покупали что-то и видели там маленького офицера.

— Какого «маленького»? — спросил отец, не поворачивая головы. — Низенького роста, что ли?

— Да нет, — сказал я. — Пгосто маленький. Мальчик еще.

И я рассказал обо всем, что мы с мамой видели: о мальчике-подпоручике, о золотых погонах, о Георгиевском кресте, о старушке в траурной вуали…

Отец глухо посмеялся, похмыкал, пофыркал.

— Глупости, — сказал он. — Никакой этот мальчик не офицер.

— Как?!!

Помню, я не только удивился — я испугался.

— Как? Почему глупости? Почему не офицег?

— А потому, что в четырнадцать лет подпоручиком стать нельзя.

— Нет, можно, — воскликнул я, сам удивляясь смелости, с какой позволяю себе разговаривать с отцом. — Можно! Его потому что за подвиг… пгоизвели… за гегоический…

— А ты это откуда знаешь?

— Он сам сказал.

— Сам? «Произвели за подвиг»? Так и сказал?

Отец опять пофыркал, похмыкал.

— Стрелок он, а не герой, этот твой подпоручик.

— Что значит стгелок? — не понял я. — Ну, вот… Ведь все-таки, значит, он стгелял?

— Да. Стрелял. Только не из ружья.

— А из чего?

— Не знаю из чего… Стрелками называют мазуриков, обманщиков. Это нищие, которые притворяются калеками, чтобы разжалобить баб.

— Нет!!! — вдруг закричал я.

И остановился. И еще раз во весь голос закричал:

— Нет! Нет! Не-е-ет!!!

— Ты что? — сказал папа. — Ты что кричишь? С ума сошел?

Он взял меня за руку.

— Идем. Люди смотрят.

Но я не мог идти. Что-то со мной случилось. Не шли ноги. Никогда раньше со мной такого не бывало. Отец пробовал вести меня, но я, как связанный, повис на его руке. И худо мне стало, закружилась голова, скрутило что-то в животе.

— Меня тошнит, — провякал я, вцепившись в папину руку.

— Эх ты, — сказал папа.

Он оттащил меня за угол. И там, на газончике, у ограды дворцового сада, меня стошнило. Отец постоял, подождал, дал мне чистый платок.

— Ну что, легче стало?

— Да, благодагю вас, — простонал я.

— Идти можешь?

— Кажется…

На Невском отец подозвал извозчика, подсадил меня на сиденье. Извозчик спросил адрес, почмокал губами, пролетка дернулась и мягко покатилась по торцовой мостовой.

Отец слегка придерживал меня за плечо. За всю дорогу он только один раз спросил, лучше ли мне, и я сказал, что да, лучше, хотя как раз в эту минуту мы проезжали мимо Пажеского корпуса\*, а напротив был Гостиный Двор, и мне опять вспомнился этот стрелок, и опять меня стало давить и мутить. Но я сжал зубы и справился с этой гадостью.

На Фонтанке, пока отец расплачивался с извозчиком, я юркнул в вороте, добрался до подъезда и, хватаясь руками за перила, поднялся на второй этаж. Мне было стыдно смотреть отцу в глаза. Но, как мне показалось, и ему тоже почему-то было стыдно.

Маме ни он, ни я ничего не сказали. Уйдя в детскую, где Вася и Ляля шумно играли в лошадки, бегали и звенели бубенчатыми вожжами, я сел за парту, хотел вынуть книгу, но в эту минуту пришла горничная Стеша и сказала:

— Вас папочка зовут.

Скинув свой защитный френч и повесив его на спинку стула, отец сидел за письменным столом, курил и поигрывал серебряной почерневшей вставочкой.

— Ну как? — сказал он с какой-то кривоватой усмешкой.

Я осторожно прикрыл дверь, подошел к столу.

— Хогошо. Благодагю вас.

— Очухался?

— Да, — усмехнулся я так же кривовато.

— Я вот что хотел, — сказал отец, покашливая, постукивая вставочкой и глядя куда-то в сторону, за окно. — Вообще-то, ты знаешь, всякие бывают чудеса на свете. У нас, например, в полку один полячок, тоже лет четырнадцати-пятнадцати, до унтера дослужился…

Я стоял, опустив голову, и, не глядя на отца, старательно выковыривал ногтем канцелярскую кнопку, которой был пришпилен к столу отставший уголок зеленого ломберного сукна.

— Ты что там? Оставь! — рассердился отец.

Я испуганно посмотрел на него и опустил руки по швам.

— Понял, что я сказал?

— Я не кручу.

— Я не об этом. А я о том, что, черт его знает, может быть, и в самом деле не стрелок этот твой маленький подпоручик. А? Как ты думаешь?

Я опять опустил глаза.

— Я тебя спрашиваю.

— Я не знаю, — сказал я.

— Ну, в общем, шут с ним, с этим подпоручиком, — сказал папа. — Я не о нем хотел… Я вот о чем. Скажи мне честно: ты на войну пойти мог бы?

Я вздрогнул и поднял глаза.

— Да. Мог бы.

Теперь и он смотрел на меня. Мне казалось, что глаза его слегка заблестели, повеселели.

— Не испугался бы?

— Думаю, что нет.

— А ранить могли бы тебя?

— Могли.

— Еще бы. На войне это, ты знаешь, раз-два. А теперь скажи: без руки, без ноги ты милостыню просить пошел бы?

— Нет, — ответил я, не задумываясь.

— Вот, брат. В этом весь вопрос. Русский офицер, да и не только русский, а и вообще всякий благородный человек христарадничать не станет. Даже если ему и очень худо придется.

— Да, — сказал я. — Я ведь тоже немножко удивился.

— Чему удивился?

— А что мальчик этот деньги собигает.

— Поди сюда, — сказал папа.

Я подошел. Он обнял меня и поцеловал куда-то в висок. Я неуклюже прижался к нему и тоже с наслаждением поцеловал его жесткий, колючий, пахнущий вежеталем ежик.

…Теперь я больше всего боялся, что найдут сухари и что папа узнает. Надо было куда-нибудь их девать, эти сухари. Выбросить в мусорное ведро, отнести на помойку? Нет, этого я не мог сделать. Я очень давно, едва ли не с пеленок знал, что выбрасывать хлеб — самый страшный грех. С вечера я украдкой набил сухарями карманы штанов и матросской куртки, а утром, когда Елена Ивановна, наша бонна, одевала Васю, чтобы вести нас в училище, спустился во двор и незаметно прошел в курятник. Куры сидели под потолком на своем сером, заляпанном белой известкой насесте, а большой рыжевато-черный петух с красной бородкой и с таким же сочным красным гребешком расхаживал взад и вперед по курятнику и, поглядывая наверх, что-то сердито и оживленно объяснял своим подругам.

Я высыпал сухари в угол, где в пыли и в паутине стояли какие-то битые тарелки с водой. Петух подошел, клюнул сухарь и, метнув на меня не то гневный, не то презрительный взгляд, с новой энергией забегал по курятнику, выговаривая что-то своим дамам. Выйдя во двор, я подтянул ремешки ранца и поспешил к воротам — догонять Елену Ивановну и Васю.

**Леонид ПАНТЕЛЕЕВ**

**Маринка**

С Маринкой мы познакомились незадолго до войны на парадной лестнице. Я открывал французским ключом дверь, а она в это время, возвращаясь с прогулки, проходила мимо, вся раскрасневшаяся, утомленная и разгоряченная игрой. Куклу свою она тащила за руку, и кукла ее, безжизненно повиснув, также выражала крайнюю степень усталости и утомления.

Я поклонился и сказал:

— Здравствуйте, красавица.

Девочка посмотрела на меня, ничего не ответила, засопела и стала медленно и неуклюже пятиться по лестнице наверх, одной рукой придерживаясь за перила, а другой волоча за собой несчастную куклу. На площадке она сделала передышку, еще раз испуганно посмотрела на меня сверху вниз, облегченно вздохнула, повернулась и, стуча каблучками, побежала наверх.

После этого я много раз видел ее из окна во дворе или на улице среди других детей. То тут, то там мелькал ее красный сарафанчик и звенел тонкий, иногда даже чересчур звонкий и капризный голосок.

Она была и в самом деле очень красива: черноволосая, курчавая, большеглазая, — еще немножко, и можно было бы сказать про нее: вылитая кукла. Но от полного сходства с фарфоровой куклой ее спасали живые глаза и живой, неподдельный, играющий на щеках румянец: такой румянец не наведешь никакой краской, про такие лица обычно говорят: «кровь с молоком».

Война помогла нам познакомиться ближе. Осенью, когда начались бомбежки, в моей квартире открылось что-то вроде филиала бомбоубежища. В настоящем убежище было недостаточно удобно и просторно, а я жил в первом этаже, и, хотя гарантировать своим гостям полную безопасность я, конечно, не мог, площади у меня было достаточно, и вот по вечерам у меня стало собираться обширное общество — главным образом дети с мамами, бабушками и дедушками.

Тут мы и закрепили наше знакомство с Маринкой. Я узнал, что ей шесть лет, что живет она с мамой и с бабушкой, что папа ее на войне, что читать она не умеет, но зато знает наизусть много стихов, что у нее шесть кукол и один мишка, что шоколад она предпочитает другим лакомствам, а «булочки за сорок» (то есть сорокакопеечные венские булки) простой французской…

Правда, все это я узнал не сразу и не все от самой Маринки, а больше от ее бабушки, которая, как и все бабушки на свете, души не чаяла в единственной внучке и делала все, чтобы избаловать ее и испортить. Однако девочка была сделана из крепкого материала и порче не поддавалась, хотя в характере ее уже сказывалось и то, что она «единственная», и то, что она проводит очень много времени со взрослыми. Застенчивость и развязность, ребенок и резонер — сочетались в ней очень сложно, а иногда и комично. То она молчит, дичится, жмется к бабушке, а то вдруг наберется храбрости и затараторит так, что не остановишь. При этом даже в тех случаях, когда она обращалась ко мне, она смотрела на бабушку, как бы ища у нее защиты, помощи и одобрения.

Между прочим, от бабушки я узнал, что Маринка ко всему прочему еще и артистка — поет и танцует.

Я попросил ее спеть. Он отвернулась и замотала головой.

— Ну, если не хочешь петь, может быть, спляшешь?

Нет, и плясать не хочет.

— Ну, пожалуйста, — сказал я. — Ну, чего ты боишься?

— Я не боюсь, я стесняюсь, — сказала она, посмотрев на бабушку, и, так же не глядя на меня, храбро добавила:

— Я ничего не боюсь. Я только немцев боюсь.

Я стал выяснять, с чего же это она вдруг боится немцев. Оказалось, что о немцах она имеет очень смутное представление. Немцы для нее в то время были еще чем-то вроде трубочистов или волков, которые рыщут в лесу и обижают маленьких и наивных красных шапочек. То, что происходит вокруг — грохот канонады за стеной, внезапный отъезд отца, исчезновение шоколада и «булочек за сорок», даже самое пребывание ночью в чужой квартире — все это в то время еще очень плохо связывалось в ее сознании с понятием «немец».

И страх был не настоящий, а тот, знакомый каждому из нас, детский страх, который вызывают в ребенке сказочные чудовища — всякие бабы-яги, вурдалаки и бармалеи…

Я, помню, спросил у Маринки, что бы она стала делать, если бы в комнату вдруг вошел немец.

— Я бы его стулом, — сказала она.

— А если стул сломается?

— Тогда я его зонтиком. А если зонтик сломается — я его лампой. А если лампа разобьется — я его галошей…

Она перечислила, кажется, все вещи, какие попались ей на глаза. Это была увлекательная словесная игра, в которой немцу уделялась очень скромная и пассивная роль — мишени.

Было это в августе или в сентябре 1941 года.

Потом обстоятельства нас разлучили, и следующая наша встреча с Маринкой произошла уже в январе нового, 1942 года.

Много перемен произошло за это время. Давно уже перестали собираться в моей квартире ночные гости. Да и казенные, общественные убежища тоже к этому времени опустели. Город уже давно превратился в передовую линию фронта, смерть стала здесь явлением обычным и привычным, и все меньше находилось охотников прятаться от нее под сводами кочегарок и подвалов.

Полярная ночь и полярная стужа стояли в ленинградских квартирах. Сквозь заколоченные фанерой окна не проникал дневной свет, но ветер и мороз оказались ловчее, они всегда находили для себя лазейки. На подоконниках лежал снег, он не таял даже в те часы, когда в комнате удавалось затопить «буржуйку».

Маринка уже два месяца лежала в постели.

Убогая фитюлька нещадно коптила, я не сразу разглядел, где что. Сгорбленная старушка, в которой я с трудом узнал Маринкину бабушку, трясущимися руками схватила меня за руку, заплакала, потащила в угол, где на огромной кровати, под грудой одеял и одежды теплилась маленькая Маринкина жизнь.

— Мариночка, ты посмотри, кто пришел к нам. Деточка, ты открой глазки, посмотри…

Маринка открыла глаза, узнала меня, хотела улыбнуться, но не вышло: не хватило силенок.

— Дядя… — сказала она.

Я сел у ее изголовья. Говорить я не мог. Я смотрел на ее смертельно бледное личико, на тоненькие, как ветки, ручки, лежавшие поверх одеяла, на заострившийся носик, на огромные ввалившиеся глаза — и не мог поверить, что это все, что осталось от Маринки, от девочки, про которую говорили: «кровь с молоком», от этой жизнерадостной, пышущей здоровьем резвушки.

Казалось, ничего детского не осталось в чертах ее лица.

Угрюмо смотрела она куда-то в сторону — туда, где на закоптелых, некогда голубых обоях колыхалась витиеватая тень от дымящей коптилки.

Я принес ей подарок — жалкий и убогий гостинец: кусок конопляной дуранды, завернутый, красоты ради, в тонкую папиросную бумагу. Больно было смотреть, как просияла она, с каким жадным хрустом впились ее мышиные зубки в каменную твердь этого лошадиного лакомства.

Воспитанная по всем правилам девочка, она даже забыла сказать мне «спасибо»; только расправившись наполовину с дурандой, она вспомнила о бабушке, предложила и ей кусочек. А подобрав последние крошки и облизав бумагу, она вспомнила и обо мне — молча посмотрела на меня и холодной ручкой дотронулась до моей руки.

— Бабушка, — сказала она. Голос у нее был хриплый, простуженный. — Бабушка, правда, как жалко, что когда мы немножко больше кушали, я не сплясала дяде?

Бабушка не ответила.

— А теперь что, не можешь? — спросил я.

Она покачала головой:

— Нет.

Бабушка опустилась на стул, заплакала.

— Боже мой, — сказала она. — Когда это все кончится только?!

Тут произошло нечто неожиданное. Маринка резко повернулась, подняла голову над подушкой и со слезами в голосе закричала:

— Ах, бабушка, замолчи, ты мне надоела! «Когда это кончится?!» Вот всех немцев перебьют, тогда и кончится…

Силенки изменили ей. Она снова упала на подушку.

Бабушка продолжала плакать. Я помолчал и спросил:

— А ты немцев все еще боишься, Маринка?

— Нет, не боюсь, — сказала она.

Пытаясь возобновить наш старый шуточный разговор, я сказал ей:

— А что ты станешь делать, если, скажем, немец вдруг войдет в твою комнату?

Она задумалась. Глубокие, недетские морщинки сбежались к ее переносице. Казалось, она трезво рассчитывает свои силы, стула ей теперь не поднять, до лампы не дотянуться, полена во всем доме днем с огнем не найдешь.

Наконец она ответила мне. Я не расслышал. Я только видел, как блеснули при этом ее маленькие крепкие зубки.

— Что? — переспросил я.

— Я его укушу, — сказала Маринка. И зубы ее еще раз блеснули, и сказано это было так, что, честное слово, я не позавидовал бы тому немцу, который отважился бы войти в эту холодную и закоптевшую, как вигвам, комнату.

Я погладил Маринкину руку и сказал:

— Он не придет, Маринка…

Много могил мы вырубили за эту зиму в промерзшей ленинградской земле. Многих и многих недосчитались мы по весне.

А Маринка выжила.

Я видел ее весной сорок второго года. Во дворе на солнышке играла она с подругами… Это была очень скромная, тихая и благопристойная игра. И это были еще не дети, а детские тени. Но уже чуть-чуть румянились их бледные личики, и некоторые из них уже прыгали на одной ножке, а это очень трудно — держаться на одной ноге: тот, кто пережил ленинградскую зиму, поймет и оценит это.

Увидев меня, Маринка бросилась мне навстречу.

— Дядя, — сказала она, обнимая меня, — какой вы седой, какой вы старый…

Мы поговорили с ней, поделились последними новостями. Оба мы по-настоящему радовались, что видим друг друга — какими ни на есть, худыми и бледными, но живыми. Ведь не всякому выпала эта радость.

Когда мы уже простились, Маринка снова окликнула меня.

— Дядя, — сказала она, смущенно улыбаясь, — знаете что, хотите, я вам спляшу?

— Ого! — сказал я. — Ты уже можешь плясать?

— Да! Немножко могу. Но только не здесь. Пойдемте, знаете куда? На задний двор, около помойки…

— Нет, Мариночка, не надо, — сказал я. — Побереги силенки — они тебе еще пригодятся. А спляшешь ты мне знаешь когда? Когда мы доживем до победы, когда разобьем фашистов.

— А это скоро?

Я сказал:

— Да, скоро.

И, сказав это, я почувствовал, что беру на себя очень большое обязательство. Это была уже не игра, это была присяга.

**Леонид ПАНТЕЛЕЕВ**

**Главный инженер**

Лейтенант Фридрих Буш, летчик германской разведывательной авиации, и новодеревенский школьник Леша Михайлов в один и тот же день получили награды: лейтенант Буш — железный крест, а Леша Михайлов — медаль «За оборону Ленинграда».

Как сказано было в приказе германского командования, летчик Буш представлялся к награде «за отличную разведывательную деятельность над позициями противника у Ленинграда, в результате чего были обнаружены и уничтожены 12 зенитных установок русских». А Леша Михайлов получил свою медаль как раз за то, что помог немецким самолетам обнаружить эти двенадцать батарей…

Вы, я вижу, удивлены. У вас глаза на лоб полезли. Вы думаете небось, что это ошибка или опечатка. Что ж, выходит, значит, что Леша Михайлов предатель? Почему же тогда он получил советскую награду, а не какой-нибудь тоже медный или оловянный немецкий крест?

А между тем никакой ошибки тут нет. Леша Михайлов получил свою награду по заслугам. А вот за что получил ее лейтенант Фридрих Буш — это дело темное. Хотя — если разобраться — может быть, он и в самом деле неплохо выполнил свою боевую задачу. Ведь он действительно обнаружил на подступах к Ленинграду двенадцать зенитных батарей. Правда без помощи Леши Михайлова и других ребят он черта бы с два обнаружил. А хотя…

Ну да, впрочем, так вы все равно ничего не поймете. Надо все рассказать по порядку.

\* \* \*

Леша Михайлов жил, как я уже сказал, в Новой Деревне. Около их дома — за огородами — был пруд. На том берегу пруда в небольшой рощице стояла зенитная батарея. Почти каждую ночь, когда с финской стороны летели на Ленинград немецкие бомбардировщики, батарея открывала огонь. Конечно, не одна батарея. Их там вокруг было много. От этого огня в Михайловском доме, как и в других, соседних домах, давно уже не осталось ни одного стекла — окна были заколочены досками или фанерой, или заткнуты подушками. Зато уж и немцам, конечно, тоже доставалось от этого огня!..

Батарея была хорошо замаскирована. В обычное время, когда она помалкивала, не работала, ее не только с воздуха, но и с земли не разглядеть было. Но, конечно, это только взрослые не могли разглядеть. А от ребят разве что-нибудь скроешь?

Ребята еще давно, еще в самом начале войны, когда только появилась у них эта батарея, все, что им нужно было, разнюхали, разведали и знали теперь батарею, наверно, не хуже самих зенитчиков. Знали и сколько там орудий, и какого они калибра, и сколько у орудий прислуги, и кто командир, и где снаряды лежат, и как заряжают, и как стреляют, и как команду подают.

Работала батарея только по ночам. Наутро после налета бомбардировщиков почти всякий раз прилетал в деревню маленький, легкий, похожий на стрекозу немецкий самолет-разведчик «хеншель-126». Иногда он по полчаса и больше кружил над деревней, выискивая и вынюхивая расположение русских зениток.

Но батареи молчали. И «хеншель-126», повертевшись и покружившись, улетал восвояси.

Сначала ребята удивлялись:

— Что ж они не стреляют? Ведь он же прямо совсем на куриной высоте летит! Его с одного выстрела подбить можно!..

Один раз они даже не выдержали и закричали через колючую проволоку командиру батареи, который в это время как раз разглядывал в бинокль вражеского разведчика:

— Товарищ старший лейтенант! Чего ж вы смотрите! Хлопните его из второго орудия. В самый раз будет.

Командир оторвался от бинокля и с удивлением посмотрел на ребят.

— Это что такое? — крикнул он строго. — Вы как сюда попали?!

Ребята переглянулись, и Леша Михайлов за всех ответил:

— Мы так… потихоньку… Замаскировались.

— Ах, вот как? Замаскировались? Ну, так и я вот тоже — маскируюсь. Понятно?

— Ага. Понятно, — сказал, подумав, Леша. — Чтобы, значит, не обнаружили и не засекли?

— Во-во, — сказал командир. — А вообще пошли вон отсюда! Разве не знаете, что сюда нельзя ходить?

— Знаем, — ответили ребята. — Да мы не ходим, мы ползаем.

— Ну и ползите обратно.

Дня через три, вечером, на батарее была объявлена боевая тревога. Не успел отзвенеть сигнал, как ребята уже сидели на своем обычном месте — в кустах на берегу пруда. Кто-то из батарейцев их заметил и сказал командиру.

— Ах, вот как? — закричал командир, узнав Лешу Михайлова. — Опять это ты? Ну, погоди, попадись ты мне!..

Леша и товарищи его убежали, но и после, конечно, подглядывали за батарейцами, только стали немного осторожнее.

А в ноябре месяце, перед самыми праздниками, случилась эта самая история, за которую Леша Михайлов с товарищами чуть не угодил в трибунал.

Ну, да, впрочем, не будем забегать вперед. Будем и дальше рассказывать по порядку.

\* \* \*

Выдался как-то очень хороший зимний денек. Снегу насыпало — ни пройти, ни проехать. После школы выбежали ребята на улицу, гулять. Стали играть в снежки. Поиграли немного — надоело. Кто-то предложил лепить снежную бабу. А Леша Михайлов подумал и говорит:

— Нет, ребята, давайте лучше не бабу, а давайте — знаете что? — построим снежную крепость. Или батарею зенитную? С блиндажом и со всем, что полагается.

Затея ребятам понравилась, и вот на пруду, за Михайловскими огородами, по соседству с настоящей зенитной батареей началось строительство игрушечной, снежной и ледяной огневой точки.

Работали ребята весь день — до вечера. Катали снежные комья, возводили стены, брустверы, орудийные площадки… И получилось у них здорово. Все как настоящее. Даже пушку соорудили, и пушка у них была не какая-нибудь, а самая всамделишная — зенитная, из какого-то старого дышла или оглобли, и даже вертелась, и можно было из нее прицеливаться.

Это было в субботу. На следующий день ребята с утра достраивали свою крепость, когда над их головами в безоблачном зимнем небе появился старый новодеревенский знакомый «хеншель-126». На этот раз он прилетел очень кстати. Играть стало еще интереснее.

— Воздух! — закричал Коська Мухин, маленький, веснушчатый пацан по прозвищу «Муха».

— Тревога! — закричал Леша Михайлов. — Товарищи бойцы, по местам!

Он первый подбежал к игрушечной пушке и стал наводить ее на настоящий вражеский самолет.

— По фашистским стервятникам — огонь! — скомандовал он и сам ответил за свою пушку:

— Бах! Бах!

— Бам-ба-ра-рах! — хором подхватили ребята.

А разведчик, как всегда, повертелся, покрутился и, стрекоча своим стрекозиным моторчиком, улетел в сторону фронта.

Ребята еще немного поиграли, потом разошлись.

Лещу Михайлова позвали домой обедать. Он с удовольствием уплетал мятый вареный картофель с соевым маслом и уже собирался попросить у матери добавочки и даже протянул для этого миску, как вдруг миска вылетела у него из рук. Оглушительный удар, а за ним второй и третий прогремели, как ему показалось, над самой его головой. Стены Михайловского дома заходили ходуном, посыпалась штукатурка, на кухне что-то упало и со звоном покатилось. Лешина сестренка Вера диким голосом закричала и заплакала. За нею заплакала Лешина бабушка.

— Бомбят! Бомбят! — кричал кто-то на улице. Там уже работали зенитки, стучал пулемет, и где-то высоко в небе приглушенно гудели моторы немецких пикировщиков.

— А ну — живо — лезьте в подполье! — скомандовала Лешина мать, отодвигая стол и поднимая тяжелую крышку люка.

Бабушка, а за нею Лешины сестры и младший брат полезли в подвал, а сам Леша, пользуясь суматохой, сорвал со стены шапку и юркнул в сени.

Во дворе он чуть не столкнулся с Коськой Мухиным. Муха едва дышал, лицо у него было бледное, губы дрожали.

— Ой, Лешка! — забормотал он, испуганно оглядываясь и шмыгая носом. — Ты знаешь… беда какая…

— Что? Какая беда?

Муха не мог отдышаться.

— Ты знаешь, ведь это… ведь это ж нашу батарею сейчас бомбили!..

— Ну, да! Не ври! — сказал, побледнев, Леша.

— Ей-богу, своими глазами видел. Две бомбы… прямое попадание… и обе в нашу батарею. Одни щепочки остались.

— Сам видел, говоришь?

— Говорю ж тебе, своими глазами видел. Мы с Валькой Вдовиным за водой ходили, увидали и — сразу туда. Я убежал, а он…

— Что?! — закричал Леша и с силой схватил товарища за плечо.

— Его… его на батарею увели. На настоящую, — сказал Муха и, опустив голову, заплакал.

\* \* \*

Немецкие самолеты разбомбили игрушечную крепость и улетели. На батареях прозвучал отбой воздушной тревоги, понемногу успокоилось все и в самой деревне, а Валька Вдовин все еще не возвращался домой.

Леша Михайлов несколько раз бегал к Валькиной матери. Он успокаивал ее, говорил, что видел Вальку «своими глазами», что он жив, что его пригласили в гости зенитчики и угощают его там чаем или галетами.

Но сам Леша не мог успокоиться.

«Ведь это ж я виноват, — думал он. — Это я все выдумал — с этой дурацкой крепостью. А Валька даже не строил ее. Он только сегодня утром из Ленинграда приехал…»

Он уже собирался пойти на батарею и сказать, что это он виноват, а не Валька, когда в дверь постучали и в комнату ввалился сам Валька Вдовин.

— Ага, ты дома, — сказал он, останавливаясь в дверях.

— Дома, дома, заходи, — обрадовался Леша.

— Да нет… я на минутку… я не буду, — пробормотал Валька. — Кто-нибудь у вас есть?

— Нет, никого нет. Бабушка спит, а мама в очередь ушла. Заходи, не бойся.

— Лешка, — сказал Вдовин, не глядя на Лешу. — Тебя, наверно, в трибунал отправят. Судить будут.

— Меня? — сказал Леша. — А откуда ж узнали, что это я?

— Откуда узнали? А это я на тебя сказал.

— Ты?!

— Да, я, — повторил Валька и посмотрел Леше в глаза. — Я сначала отпирался. Говорю: знать ничего не знаю. А потом командир батареи говорит: «Это, наверно, такой чернявенький, с полосатым шарфом… Михайлов его, кажется, зовут?» Ну, я и сказал. «Да, — говорю, — Михайлов». И адрес твой спросил — я тоже сказал.

Леша стоял, опустив голову.

— Так, — выговорил он наконец. — Значит, и адрес сказал?

— Да. И адрес сказал.

— Ну, и правильно, — сказал Леша. — Я бы все равно сам пошел на батарею. Я уже собирался даже.

— Значит, ты не сердишься?

Леша стоял, не глядя на товарища.

— Нет, — сказал он.

Валька схватил его за руку.

— Знаешь что? — сказал он. — А может быть, тебе убежать лучше?

— И не подумаю, — сказал Леша.

Потом он взглянул на Вальку, не выдержал и тяжело вздохнул.

— Как ты думаешь — расстреляют? — сказал он.

Валька, подумав немного, пожал плечами.

— Может быть, и не расстреляют, — ответил он не очень уверенно.

\* \* \*

До вечера Леша Михайлов ходил сам не свой. Прибегали ребята, звали его гулять — он не пошел. Уроков он не учил, отказался от ужина и раньше, чем обычно, улегся спать. Но как ни старался, как ни ворочался с одного бока на другой, заснуть он не мог. Не то чтобы он очень боялся чего-нибудь. Нет, Леша был, как говорится, не из трусливого десятка. Но все-таки, как вы сами понимаете, положение у него было не веселое. Тем более, что он чувствовал себя действительно виноватым. А мысль о том, что судить его будут в Военном трибунале, как какого-нибудь шпиона или предателя, совсем убивала его.

«Может быть, и в самом деле лучше убежать? — думал он. — Проберусь как-нибудь на фронт или к партизанам, навру чего-нибудь, скажу, что мне скоро тринадцать лет будет, — может, меня и возьмут. Пойду куда-нибудь в разведку и погибну… как полагается… а после в газетах напишут или, может быть, объявят Героем Советского Союза…»

Но убежать Леша не успел. Перед самым рассветом он забылся и задремал. А в половине восьмого, раньше чем обычно, его разбудила мать.

— Леша! Лешенька! — говорила она испуганным голосом. — Проснись! Сыночек!

— Чего? — забормотал Леша, дрыгая спросонок ногой.

— Вставай скорее. За тобой приехали, тебя спрашивают.

Леша одним махом сбросил с себя одеяло и сел в постели.

— Приехали? Из трибунала? — сказал он.

— Из какого трибунала? Не знаю, военный какой-то приехал. На мотоциклетке.

«Эх, не успел убежать», — подумал Леша.

Застегивая на ходу рубашку и затягивая ремешок на животе, он вышел на кухню.

У печки стоял высокий красноармеец в полушубке и в кожаном шоферском шлеме. Он сушил перед печкой свои меховые рукавицы. От них шел пар.

Увидев Лешу, красноармеец как будто слегка удивился. Наверно, он думал, что Леша немного постарше.

— Михайлов Алексей — это вы будете? — сказал он.

— Я, — сказал Леша.

— Одевайтесь. Я за вами. Вот у меня повестка на вас.

— Ой, батюшки-светы, куда это вы его? — испугалась Лешина мать.

— А это, мамаша, военная тайна, — усмехнулся красноармеец. — Если вызывают, значит, заслужил.

У Леши не попадали в рукава руки, когда он натягивал свое пальтишко. Мать хотела ему помочь. Он отстранил ее.

— Ладно, мама. Оставь. Я сам, — сказал он и почувствовал, что зубы у него все-таки слегка стучат и голос дрожит.

— Взять с собой что-нибудь можно? Или не надо? — спросил он, посмотрев на красноармейца.

Тот опять усмехнулся и ничего не сказал, а только покачал головой.

— Поехали, — сказал он, надевая свои меховые рукавицы.

Леша попрощался с матерью и пошел к выходу.

На улице у ворот стоял ярко-красный трофейный мотоцикл с приставной коляской-лодочкой.

Еще вчера утром с каким удовольствием, с каким фасоном прокатился бы Леша Михайлов на виду у всей деревни в этой шикарной трехколесной машине! А сейчас он с трудом, еле волоча ноги забрался в коляску и сразу же поднял воротник и спрятал лицо: еще, не дай бог, увидит кто-нибудь из соседей…

Красноармеец сел рядом в седло и одним ударом ноги завел мотор. Мотоцикл задрожал, зафукал, застучал и, сорвавшись с места, помчался, взметая снежные хлопья и подпрыгивая на ухабах, по знакомой деревенской улице.

\* \* \*

Ехали они очень недолго. Леша и оглянуться не успел, как машина застопорила и остановилась у ворот двухэтажного каменного дома. У ворот стоял часовой.

Леша огляделся и узнал этот дом. Когда-то здесь был детский сад.

«Это на Островах, — сообразил он. — Вот он, оказывается, где трибунал-то помещается…»

— Вылезай, Алексей Михайлов. Пошли, — сказал ему красноармеец.

«Ох, только бы не заплакать», — подумал Леша, вылезая из кабинки и направляясь к воротам.

Часовой попросил у них пропуск.

— К полковнику Шмелеву, — сказал Лешин сопровождающий и показал повестку. Часовой открыл калитку и пропустил их.

В большой накуренной комнате, где когда-то помещалась, наверное, столовая детского сада, было сейчас очень много военных. Были тут и летчики, и зенитчики, и моряки с береговой обороны. Были и красноармейцы, и офицеры. Кто сидел, кто стоял, прислонившись к стене, кто расхаживал по комнате.

— Погоди минутку, я сейчас, — сказал Леше его спутник и скрылся за большой белой дверью. Через минуту он вернулся.

— Посиди, отдохни, тебя вызовут, — сказал он и ушел.

Леша присел на краешке скамейки и стал ждать.

Вдруг белая дверь открылась и из нее вышел Лешин знакомый — тот самый старший лейтенант, командир новодеревенской батареи. Он увидел Лешу, узнал его, но ничего не сказал, нахмурился и пошел к выходу.

А Леша даже привстал от волнения. Он даже не сразу расслышал, что его зовут.

— Михайлов! Михайлов! Кто Михайлов? — говорили вокруг.

— Я Михайлов! — закричал Леша.

— Что же ты не откликаешься? — сердито сказал ему молоденький лейтенант в блестящих, как зеркало, сапогах. Он стоял в дверях с какими-то папками и списками и уже целую минуту выкликал Лешину фамилию.

— Пройдите к полковнику, — сказал он, открывая белую дверь.

«Только бы не заплакать», — еще раз подумал Леша и, стараясь держаться прямо, по-военному, шагнул через порог.

\* \* \*

Пожилой, стриженный ежиком полковник сидел за большим столом и перелистывал какие-то бумаги.

— Михайлов? — спросил он, не глядя на Лешу.

— Да, — ответил Леша.

Полковник поднял глаза и тоже как будто удивился, что Леша такой маленький и тщедушный.

— Н-да, — сказал он, разглядывая его из-под густых и мохнатых, как у медведя, бровей. — Вот ты какой, оказывается. А ну-ка подойди ближе.

Леша подошел к столу. Полковник смотрел на него строго, и седые медвежьи брови его все ближе и ближе сдвигались к переносице.

— Так, значит, это ты построил снежную крепость, или блиндаж, или что там… которую давеча разбомбили «мессеры»?

— Да… я, — прохрипел Леша и почувствовал, что еще минута — и слезы помешают ему говорить. — Только ведь мы не нарочно, товарищ полковник, — прибавил он, стараясь глядеть полковнику прямо в глаза. — Мы ведь играли…

— Ах, вот как? Играли?

— Ага, — прошептал Леша.

— Кто это «мы»?

— Ну, кто? Ребята, одним словом.

— А кто зачинщик? Кто выдумал все это? Под чьим руководством строили?

— Я выдумал. Под моим, — ответил Леша, опуская голову. И тут он не выдержал — слезы прорвались оттуда, где они до сих пор прятались, и заклокотали у него в горле.

— Товарищ полковник… пожалуйста… простите меня, — пролепетал он. — Я больше не буду…

— Это что — не будешь?

— Играть не буду.

— Вот тебе и на! — усмехнулся полковник. — Как же это можно — не играть?

— Ну… вообще… блиндажей не буду строить.

— Не будешь? Самым серьезным образом не будешь?

— Самым серьезным. Вот ей-богу! Хоть провалиться, — сказал Леша.

— Н-да, — сказал полковник. — Ну, а если мы тебя попросим?

— Что попросите?

— Да вот что-нибудь еще построить — в этом же роде. Крепость, или блиндаж, или дзот какой-нибудь.

Леша поднял глаза. Полковник смотрел на него по-прежнему серьезно, не улыбаясь, только брови его разошлись от переносицы, и под ними открылись ясные, немного усталые и воспаленные от долгой бессонницы глаза.

— Видишь ли, дорогой товарищ, какая история, — сказал он. — Оказывается, что в военное время даже играть надо осторожно. Вот построили вы, например, батарею. Отлично, вероятно, построили, если немец ее за настоящую принял. Но построили вы ее где? Рядом с настоящей боевой действующей зенитной батареей. Это тебе известно?

— Известно, да, — чуть слышно проговорил Леша.

— А ведь рядом не только батарея. Тут и невоенные объекты — жилые дома, живые люди.

— Товарищ полковник! — чуть не плача, перебил его Леша. — Да разве ж я не понимаю?!

— Понимаешь, да поздно, — строго сказал полковник. — Задним умом живешь.

— Правильно. Задним, — вздохнув, согласился Леша.

— А между тем, — продолжал полковник, — такие фальшивые, что ли, сооружения, как ваша крепость, нам, военным людям, очень и очень нужны. Они называются у нас ложными объектами. Чтобы замаскировать настоящий объект, отвести противнику глаза и натянуть ему нос, — где-нибудь в стороне строятся поддельные, декоративные, похожие на настоящие и все-таки не настоящие укрепления и сооружения: блиндажи, окопы, ангары, огневые точки, батареи и — все, чего, одним словом, душа пожелает.

Леша давно уже проглотил слезы и слушал полковника с таким вниманием, что даже рот открыл.

— Понятно тебе? — сказал полковник.

— Ага. Понятно, — кивнул Леша.

— Так вот, товарищ Михайлов, не согласитесь ли вы построить нам штучек пять-шесть таких ложных объектов?

— Это кто? Это я? — чуть не закричал Леша.

— Да. В общем, ты и товарищи твои.

Леша смотрел на полковника и не понимал, шутит он или нет.

— А из чего строить? Из снега? — спросил он.

— А это уж как вам хочется. Лучше всего из снега, конечно. Во-первых, материал дешевый. А во-вторых, кто же лучше ребят со снегом умеет работать!

— Точно! — согласился Леша.

— Ну, так как же? — сказал полковник.

— Ну что ж, — ответил Леша, для важности почесав в затылке. — Можно, конечно. Только вот боюсь, что, пожалуй…

— Что еще за «пожалуй»?

— Оглобель, боюсь, не хватит.

— Каких оглобель?

— Ну, которые вместо пушек. У нас ведь понарошку было: зенитки у нас не было, так мы — оглоблю вместо нее…

— Понятно, — сказал полковник. — Ну что ж, товарищ Михайлов, оглобель уж мы вам как-нибудь раздобудем. За оглоблями дело не станет.

— Тогда все в порядке, — сказал Леша. — Приказано строить.

Они еще немножко поговорили, и через десять минут красный штабной мотоцикл уже мчал Лешу Михайлова обратно домой.

\* \* \*

А что было дальше — я вам в подробностях рассказать не могу. Где и как строились ложные объекты — это, как вы сами понимаете, очень большая военная тайна. Могу только сказать, что строили их, вместе с Лешей Михайловым, и Коська Мухин, по прозвищу Муха, и Валька Вдовин, и другие новодеревенские ребята. Но Леша Михайлов был у них главным инженером. И в штабе, куда он теперь частенько заглядывал за указаниями и за инструкциями, его так и называли:

«Инженер 1-го ранга Алексей Михайлов».

Работали ребята, в общем, на славу, — иногда, если нужно было, и по ночам работали, забывали пить и есть, не жалели ни сна, ни времени своего, но в школу все-таки бегали, не пропускали, и Леша Михайлов даже умудрился в эти дни получить «отлично» по русскому письменному.

А «хеншель-126» теперь уже не летал в Новую Деревню, а летал туда, где возникали одна за другой новые зенитные точки. Следом за ним прилетали тяжелые «мессеры» и «фокке-вульфы» и, не жалея боеприпасов, бомбили снежные блиндажи и деревянные орудия. А ребята сидели в это время дома или в убежище, прислушивались к далеким разрывам фугасок, переглядывались и посмеивались. И взрослые не понимали, чего они смеются, и сердились. Ведь никто не знал, что немцы бомбят снег. А ребята хранили военную тайну свято, как полагается.

Иногда, если немцы не замечали батарею и долго ее не бомбили, ребятам приходилось достраивать или даже перестраивать ее. Но таких было немного — две или три, а на остальные немцы «клевали», как рыба клюет на хорошую приманку.

В тот день, когда фашистские самолеты разбомбили двенадцатую по счету снежную батарею, Лешу Михайлова с товарищами вызвали в Ленинград, в штаб фронта. Их принял командующий фронтом. Из его рук Леша Михайлов получил медаль, а товарищи его — почетные грамоты, в которых было сказано, что они отличились на обороне города Ленина, «выполняя специальное задание командования».

В этот же день лейтенант Фридрих Буш, командир разведывательного самолета «хеншель-126», получил железный крест. Об этом писали немецкие фашистские газеты. Видели мы там и фотографию этого отважного летчика. До чего же, вы знаете, глупое, самодовольное и счастливое лицо у этого прославленного героя…

Где-то он теперь, этот Фридрих Буш?

А Леша Михайлов жив, здоров, по-прежнему живет в Новой Деревне и учится уже в девятом классе.

**Леонид ПАНТЕЛЕЕВ**

**Камилл и учитель**

Очень давно, когда еще и тебя и меня на свете не было, и наших дедушек и бабушек еще не было, жил на свете человек, полководец Марк Фурий Камилл.

Человек этот был римлянин. И больше всего на свете он любил свою родину — Рим. За родину он готов был отдать и свободу, и счастье, и богатство, и даже собственную жизнь. Только одного он, пожалуй, не мог бы отдать даже любимой родине — это своей совести. Человек он был честный, прямой, неподкупный. Сам был такой и от других тоже требовал честности и прямодушия.

А то, что он был удивительно храбрый и бесстрашный и не щадил своей жизни, — это не выдумка.

Вот послушай, что рассказывается о нем в одной старой книге.

Когда Камилл был еще совсем молоденьким человеком, случилось ему принимать участие в одной стычке с врагами, в одной конной атаке. В бою он потерял и меч, и копье, и дротик. И ему ничего не оставалось делать: или беги, или сдавайся в плен. А тут еще, когда он остался без оружия, его ранили: тяжелый вражеский дротик вонзился ему в левое бедро. Наверно, это было очень больно. Но Камилл даже не покачнулся, даже коня не придержал. Он выдернул из раны дротик и с этим чужим, окровавленным оружием в руке поскакал впереди своих войск добивать неприятеля.

За такую отвагу и храбрость римские граждане выбрали Фурия Камилла своим военным трибуном, то есть самым главным начальником или полководцем. И он до конца своей жизни командовал римскими войсками и водил их в походы. И всегда эти походы заканчивались поражением врагов и победой римлян.

Только один город долго и упорно не сдавался Камиллу.

Это был город Фалерия — главный город страны фалесков.

Город этот был хорошо укреплен. Его окружали высокие каменные стены. Да и сами фалески были народ боевой, храбрый, и сдаваться без боя, продавать задешево свою жизнь и свободу они не хотели. И римляне, как ни бились, ничего не могли с ними поделать.

А в городе Фалерия проживал в это время один школьный учитель. И хотя была война, жители Фалерии, желая показать, что они не только не боятся, но и презирают врагов, нарочно не прекращали своих обычных занятий: работали, торговали, ходили в гости… И школьный учитель тоже, как всегда, занимался со своими ребятами — учил их читать и писать, обучал арифметике, фехтованию, пению и гимнастике.

Человек этот был изменник, предатель. Он очень любил деньги. И за деньги был готов продать и свою родину и своих земляков.

И вот послушай, что он придумал, этот учитель.

Он стал устраивать со своими учениками ежедневные загородные прогулки. Каждое утро он стал выводить ребят за городскую стену. Сначала он прогуливал их недалеко, у самой стены, а потом стал водить все дальше и дальше от города, все ближе и ближе к римскому лагерю.

Дети сначала побаивались немножко, ведь они знали, что где-то тут поблизости стоят страшные римские войска. Но потом постепенно они привыкли и даже полюбили эти таинственные утренние прогулки. Время было весеннее, в городе пыльно, жарко, а тут и цветы, и бабочки, и ручейки журчат… Тут и побегать можно, и пошуметь, и поиграть, и подраться.

Учитель, конечно, покрикивал на них. Он говорил, чтобы они не шумели и не отставали. Иногда он нагибался и срывал цветы и объяснял им, какой цветок как называется: вот это фиалка, это роза, а это вот простенький полевой цветок лютик.

Он говорил о цветах, о бабочках, о природе, а сам в это время обдумывал свой хитрый предательский план.

И вот однажды он вывел детей за городскую стену и повел их к римскому лагерю.

Дети не знали, куда их ведут, и шли, как всегда, спокойно, ни о чем плохом не думая и ничего не подозревая.

И вдруг из кустов им навстречу выбежали римские воины:

— Стой! Кто такие? Куда?

Дети перепугались, стали кричать и плакать. И тогда солдаты, увидев, что это хотя и фалески, но маленькие, и подумав, что они заблудились, решили их отпустить. Но учитель сказал:

— Нет, не надо нас отпускать. Ведите нас к Фурию Камиллу.

И солдаты повели их в лагерь.

А Камилл в это время сидел у себя в палатке на военном совете. И когда ему доложили, что привели фалесков, он очень обрадовался. Он подумал, что это пришли послы и что фалески решили сдаваться.

Но когда он вышел из палатки и увидел перед собой не почтенных и седовласых послов, а маленьких плачущих детей, он удивился и спросил:

— Что что такое? Почему здесь дети?

Учитель выступил вперед, поклонился и сказал:

— Это я, почтенный Камилл, я, скромный и ничтожный фалесский учитель, привел к тебе пленников.

— Пленников? — с усмешкой переспросил Камилл. — Да на что же мне эти пленники? Разве ты, учитель, не знаешь, что Камилл с детьми не воюет?

— Да, — сказал учитель. — Я знаю, что храбрый, великодушный и непобедимый Камилл не воюет с детьми. Но ты обрати внимание на то, что это дети самых знатных и богатых фалесков. Теперь ты можешь спокойно праздновать победу. Чтобы выручить своих детей, чтобы спасти их, наши фалески теперь уж обязательно сдадут тебе город. Вот тебе залог. Получи его.

И учитель еще раз низко, до самой земли поклонился.

Он думал, что Камилл кинется его обнимать, расцелует и наконец наградит каким-нибудь драгоценным перстнем или мешком золотых либров.

Но Камилл выслушал его молча, нахмурился и долго стоял, ничего не отвечая. Потом он повернулся к своим солдатам и сказал:

— А ну-ка, друзья, разденьте, пожалуйста, этого человека.

Солдаты кинулись исполнять его приказание.

Учитель побледнел, обратился к Камиллу и стал кричать:

— Что ты делаешь? Римлянин! Ты не понял меня!

Но с него уже сдирали его учительскую одежду.

— Теперь свяжите ему за спиной руки, — приказал Камилл.

Солдаты и это сделали.

— А теперь принесите сюда хороших прутьев.

Учитель задрожал и кинулся перед Камиллом на колени. Но Камилл даже не взглянул на него. Он повернулся к детям и сказал им:

— Молодые фалески, когда вы будете большими и вам придется воевать с сильным и мужественным врагом, вспомните, что нужно всегда и во всех случаях полагаться на собственные силы, а не на злодейство других.

Дети, может быть, и не поняли, что он им сказал, ведь они еще были совсем маленькие. Но хорошо, если бы ты понял и навсегда запомнил эти слова римского полководца.

— А теперь, — сказал Камилл, — гоните своего педагога домой. Вот вам для этого прутья. Возьмите каждый по прутику — и в добрый путь!..

Это уж даже и маленькие фалески поняли. Они живо расхватали принесенные солдатами прутья и с шумом и с песнями погнали своего ничтожного и недостойного учителя, как какого-нибудь гуся или поросенка, домой, в город.

Когда фалески узнали о том, что сделал Камилл, они тотчас собрали совет и постановили отдать город римлянам добровольно и без боя.

И когда фалесские послы почтенные седовласые старцы, явились к Камиллу, они сказали ему:

— Не мечом и не силой ты победил нас. Ты не сломил наших каменных стен, но ты сокрушил наши сердца своим добрым и справедливым поступком.

И вот уже две с лишним тысячи лет прошло. Камилл давно умер. И дети его умерли, и внуки, и правнуки… А слава этого человека живет. И рассказывать о нем очень приятно.

**Леонид ПАНТЕЛЕЕВ**

**Спички**

Горячее субтропическое солнце над южным пограничным городком. Тридцатые годы. Полдень.

Я — молодой, мне двадцать с небольшим лет. И я впервые в этой маленькой республике и в этом маленьком городе. Сижу в кафе, в его полумраке и прохладе, тяну из крохотной, кукольной чашечки турецкий кофе, читаю свежую московскую газету. И кажется мне, что я — не я, а уж не знаю кто… Моряк? Путешественник? Завсегдатай портовых кофеен?..

Но вот, откинув циновку над дверью, в кафе заходит мальчик. Кто он — мингрел, аджарец, абхазец, турок, перс, армянин? Не знаю. Лет ему одиннадцать-двенадцать. Очень красив, строен, подтянут, в какой-то серо-черной, круглой, без тульи, шапочке и в такой же черной, наглухо застегнутой опрятной курточке. Ходит между столиков и, коверкая русские слова, но нисколько не смешно, чинно и с достоинством выкрикивает:

— А вот кому спичка? Спичка кому надо?

Окликнул его:

— Эй, спички!

Не спеша подошел, осторожно и деликатно положил на мраморную доску стола коробок, а я, не отрываясь от газеты, опускаю руку в карман, нащупываю там двугривенный, абаз, и щеголевато-небрежно, каким-то не своим, наигранным, кинематографическим жестом выбрасываю этот двугривенный на стол. И вдруг чувствую — идут секунды, а мальчик не уходит. Опустил газету и вижу: мальчик подобрал монету, спрятал ее в кармашек, потом, не усмехнувшись даже, берет со стола спичечный коробок и, с зеркальной точностью повторяя мои движения, щеголевато-небрежно, с барственным, плантаторским высокомерием кидает коробок на стол.

А проделав все это, поворачивается и тем же достойным, неспешным шагом следует дальше.

Уши у меня горят. Любуюсь издали этим маленьким человеком и думаю: что это? Национальная гордость? Да, конечно, национальная гордость. Но и еще что-то. Потому что нельзя, невозможно представить, чтобы такое могло случиться — ну, скажем, в той полуколониальной стране, которую отделяет от нас только небольшая горная речка. Хотя и там, в той стране, живут люди гордые и самолюбивые.

**Леонид ПАНТЕЛЕЕВ**

**Кожаные перчатки**

Поезд в пути уже вторую неделю, бежит через всю зимнюю снежную Россию, от океана к Уралу и дальше на Запад. В вагоне уже давно все отоспались, перезнакомились, давно перечитаны все книги, обсуждены все злобы дня, сыграны все партии в шахматы, надоел до омерзения «козел», даже чай не пьется, даже пиво почему-то кажется кислым и стоит недопитое в темных бутылках под светлыми бумажными стаканчиками.

И вот как-то под вечер в одном из купе собирается мужская компания, и кто-то предлагает, чтобы каждый по очереди рассказал «самый страшный случай из своей жизни».

Чего-чего, а страшного за спиной у каждого немало. Один горел в самолете, другой — в танке, третий чуть не погиб на торпедированной подводной лодке. Еще одного расстреливали, и он, с пробитым насквозь легким, трое суток пролежал под горой мертвецов.

В дверях купе стоит, слушает немолодой, маленький и худенький, как подросток, человек в форме гражданского летчика. Засунув руки в боковые карманы своей кожаной коричневой курточки, он курит толстую дорогую папиросу, перекидывает ее то и дело из одного угла рта в другой и, прижимаясь затылком к косяку двери, резко и нервно выбрасывает в потолок густую струю синею дыма. Слушает он, почти не глядя на рассказчика, но, чем дольше слушает, тем сильнее волнуется, тем чаще и глубже затягивается… Внезапно лицо его наливается кровью, он делает несколько быстрых, лихорадочных затяжек, торопливо и даже судорожно запихивает папиросу в набитый окурками металлический ящичек на стене и, повернувшись к рассказчику, перебивает его:

— Ст-той! П-погоди! Д-дай мне!..

Губы его прыгают. Лицо дергается. Он — заика, каждое слово выталкивается из него, как пробка из бутылки.

— С-самое ст-трашное? — говорит он и кривит губы, делает попытку изобразить ироническую усмешку. — Самое страшное, да? Т-тонули, говоришь? Г-горели? С м-мертвецами лежали? Я т-тоже т-тонул. Я тоже г-горел. И с покойниками в об-б-бнимочку лежал. А в-вот с-самое ст-трашное — это когда я в сорок втором году письмо получил из Ленинграда — от сынишки… д-д-десятилетнего: «П-п-папочка, — пишет, — ты нас п-прости с Анюткой… м-мы в-вчера т-т-в-вои к-кожаные п-перчатки св-варили и с-с-съели»…

**Леонид ПАНТЕЛЕЕВ**

**Настенька**

На первый взгляд все трое кажутся такими милыми, счастливыми и довольными, что просто невозможно не залюбоваться ими. Пришли они с мороза, раздеваются шумно, одежда у них яркая, пестрая: синие галифе, зеленоватый защитный китель, нежно-зеленая вязаная кофточка, желтая пуховая шапка, синие в белую клетку варежки, красные детские рейтузы… И все они — и он, и она, и ребенок — пышут здоровьем, румянцем, и у всех на ресницах и на бровях еще блестит нерастаявший снег.

И вот из раздевалки они ступают по мягкой бобриковой дорожке в ресторанный зал. Капитан — молодой, высокий, статный, косая сажень в плечах — идет улыбаясь, на ходу поправляя гребешком белокурые волосы. Вид у него боевой, на груди с одной стороны гвардейский значок, с другой — несколько рядов орденских планок. Жена его тоже блондинка, тоже молодая, но уже слегка раздобревшая, раздавшаяся и бедрах — не отстает от мужа, мягко и четко идет, поскрипывает своими лакированными резиновыми сапожками. А впереди выступает с важностью чинной и стреляет во все стороны большими серыми глазами четырехлетнее существо, славный белобрысый поросенок с тремя косичками: две хвостиками болтаются сзади, третья рожком торчит над покатым лобиком. Зеленые шелковые банты хорошо оттеняют румяную смуглую нежность детского лица.

Столик это семейство занимает рядом со мной. Девочка взбирается на стул и сразу же начинает болтать ногами. Меня это, по правде сказать, несколько настораживает.

Капитан раздобыл меню, извлек из толстой, как бегемотова кожа, папки жиденькие мятые листки папиросной бумаги и погрузился в их изучение:

— Так! Ну, что же мы будем кушать? Суп молочный: Неплохо. Щи на мясном отваре. Прелестно. Рассольник. Борщ украинский. Настенька, ты что будешь?

Настенька отвечает не сразу. Поболтав под стулом ногой, она противным жеманным голосом тянет:

— Хочу мандари-и-инов!..

Капитан улыбается. Улыбается робко и, как мне кажется, даже несколько подобострастно.

— Ну, Настенька, — говорит он, сдерживая свой раскатистый бас, — ведь ты же обещала папе супик покушать.

Нога в красной рейтузине раскачивается, как маятник.

— Обещала, а вот не буду!

Думаю: «Ну, уж теперь-то быть грому и молнии».

Нет, никаких молний.

Наклонившись к дочери, капитан долго шепчет ей на ухо. При этом что-то неприятное, болезненное, даже противоестественное мелькает в его бегающих растерянных глазах.

Смотрю на этих людей и уже не вижу ни счастья, ни довольства на их лицах. Даже румянец как будто исчез, даже полнота капитанши и та кажется мне теперь нездоровой, идущей не от сытой и спокойной жизни, а от больного сердца, от бессонных ночей, от излишнего употребления ландыша и валерьяны.

Капитан поднимает руку. В руке белый листочек меню.

— Девушка!

— Да, я вас слушаю.

— Мандарины у вас в продаже имеются?

— Мандаринов нет. Есть апельсины.

Родительские взоры обращены к дочери: что скажет принцесса?

— Апельсинов не ха-ч-чу! — жеманится принцесса. — Ха-ч-чу мандаринов!..

И снова начинается торговля…

Я уже давно потерял аппетит, отставил тарелку, смотрю, слушаю. Ведь по всему видно, что капитан человек храбрый. Не один раз небось водил он в атаку роты и батальоны, десятки, а может быть, и сотни, и тысячи людей подчинялись его слову, его приказу. А тут перед четырехлетней пигалицей этот герой теряется, робеет, отступает по всему фронту.

Покупаются апельсины, отец угодливо чистит их, и девочка ест апельсины раньше супа. А потом, когда приносят суп, она его, конечно, не ест, хотя капитан и жена его уговаривают дочку, упрашивают, умоляют.

Смотрю, еле сдерживая гнев, качаю головой и мысленно говорю: «Эх, товарищ капитан, товарищ капитан! Что ж это вы, голубчик, делаете?!»

И мысленно же слышу ответ его: «А, бросьте вы! Она же еще маленькая. Успеется».

Нет, дорогой капитан, боюсь, не успеется! Боюсь, придет время, и сядет эта милая сероглазая Настенька на шею папе-генералу и маме-генеральше, и всем близким, и всему роду человеческому…

**Леонид ПАНТЕЛЕЕВ**

**Плоды просвещения**

Давно ли эта девица была от горшка два вершка, и давно ли был этот прохладный майский вечер, когда, гуляя с нею за околицей, я сделал попытку объяснить ей, что такое земной шар. Подобрав на дороге палочку, я начертил в дорожной пыли некое подобие круга. Я сказал:

— Земля как мячик. Она круглая. Если мы пойдем с тобой когда-нибудь в этом направлении, то через какое-то время, обогнув весь земной шар, мы выйдем уже не отсюда, а вон оттуда, со стороны деревни.

Ах, как засверкали ее серые глазки! С мольбой взглянула она на меня, схватила за руку.

— Ой, дядя Леня! Пожалуйста! Давай пойдем сейчас!..

Совсем, казалось бы, немного с тех пор воды утекло, а вот она уже совсем большая, уже давно бегает в школу и уже сама поучает других: подхватила, так сказать, факел просвещения и, высоко подняв, гордо несет его, чтобы передать тем, кто идет на смену.

Вчера слышу, как она объясняет четырехлетней девочке, дочери соседей:

— Понимаешь, микроб такой маленький, что если он упадет на пол, то его не видно…

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Внимание! Файл скачан с сайта mama-smart.ru

Уважаемый читатель!

Данный файл представлен исключительно в ознакомительных целях.

Все тексты взяты из открытых электронных источников и выложены на сайте для не коммерческого использования!

Если вы скопируете данный файл, Вы должны незамедлительно удалить его сразу после ознакомления с содержанием.

Копируя и сохраняя его, Вы принимаете на себя всю ответственность, согласно действующему международному законодательству.

Все авторские права на данный файл сохраняются за правообладателем.

Любое коммерческое и иное использование, кроме предварительного ознакомления запрещено.

Публикация данного документа не преследует никакой коммерческой выгоды.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*